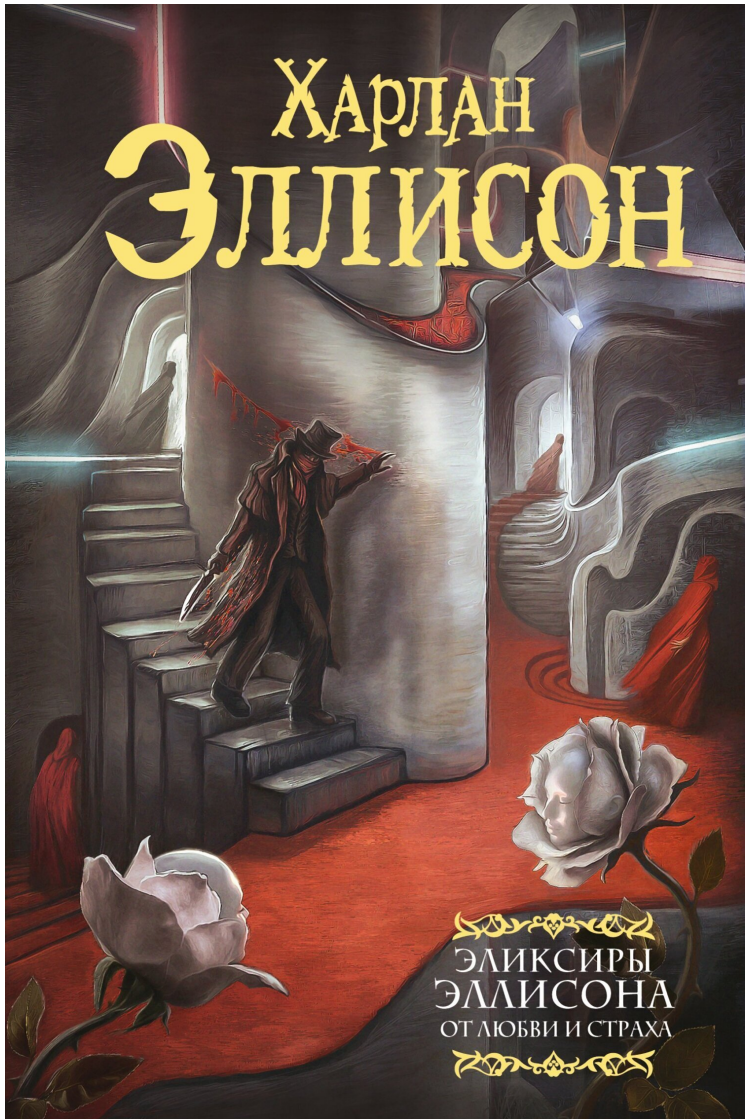


Харлан Элисон



ЭЛИКСИРЫ
ЭЛИСОНА
ОТ ЛЮБВИ И СТРАХА

Харлан Эллисон
Эликсиры Эллисона.
От любви и страха
Серия «Мастера фантазии»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68253502

Эликсиры Эллисона. От любви и страха: Издательство АСТ; Москва;

2022

ISBN 978-5-17-150908-8

Аннотация

Харлан Эллисон (1934—2018) – один из известнейших американских писателей-фантастов. Бунтарь, скандалист, ниспровергатель основ, он всегда затрагивал в своем творчестве самые острые темы и никому не спускал обид. Попробовав свои силы во всех литературных жанрах, он остановился на фантастике, как наиболее отвечающей его стремлению к самовыражению. 10 «Хьюго». 5 «Небьюла», 18 «Локусов», 6 премий Брэма Стокера и целая россыпь других наград и призов, многочисленные киносценарии, составление сборников и антологий (многие его антологии считаются эталонными сборниками «новой волны»), эпатаж, черный пиар, бесконечные пикировки с издательствами, редакциями, газетами...

Кажется, что этот человек сумел прожить десять жизней вместо одной – и ретроспективный сборник лучшей короткой

прозы за 50 лет работы дает внушительный срез его мрачных фантазий, его неподражаемого юмора, его надежд и огорчений...

Содержание

Пролегомен	11
Эликсиры Эллисона.	20
Благодарности	21
Предисловие Терри Доулинга:	24
Терри Доулинг	33
I	40
Меч Пармагона	44
Глава 1: Пещера	44
Глава 2: Светящаяся находка	46
Глава 3: Военный план	48
Глава 4: Длинный бикфордов шнур	50
Глава 5: Нырок	53
Глоконда	55
Глава 1: Сафари	55
Глава 2: Проклятье утопленника	57
Глава 3:	58
Глава 4:	60
Глава 5: Выкурить ее!	63
Глава 6: Угроза голода	65
Глава 7: Мираж	66
Еще круче	68
Сага о Джо-Пулеметчике	71
Светлячок	73

Аварийная капсула	100
Только стоячие места	120
II	140
Боль одиночества	143
Панки и парни из Йеля	175
Молитва за того, кто не враг никому	223
Конец ознакомительного фрагмента.	249

Харлан Эллисон

Эликсиры Эллисона.

От любви и страха

© The Kilimanjaro Corporation, 1991

© Перевод. Н. Кудряшев, 2020

© Перевод. М. Вершовский, 2019

© Перевод. Е. Доброхотова-Майкова, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

*** * ***

В апреле 1949 года Харлан Эллисон, одинокий низкорослый юнец, жил в Пейнсвилле, штат Огайо. Путешественник во времени, наблюдая за ним из своего невидимого пузыря, не нашел бы в нем ничего интересного: четырнадцатилетний коротышка, похоже, не вылезаящий из всяко-разно неприятных ситуаций. Разве что глаза – голубые, живые. А так – самый что ни на есть обыкновенный пацан.

И все же что-то вскипало, что-то неведомое пробуждалось в этом сгустке энергии. И вот 7 июня 1949 года, спустя всего неделю после того, как ему исполнилось пятнадцать, в «Кливленд Ньюс» публикуется первая профессионально написанная работа Харлана Эллисона: первая часть приклю-

ченческого мини-сериала (в стилистике, тактично позаимствованной у сэра Вальтера Скотта) под названием «Меч Пармагона».

В 1999 году, опубликовав «Вожделенные предметы в зеркале ближе, чем кажутся», Харлан Эллисон стал тем, кого «Вашингтон пост» назвал «одним из величайших американских мастеров короткого рассказа».

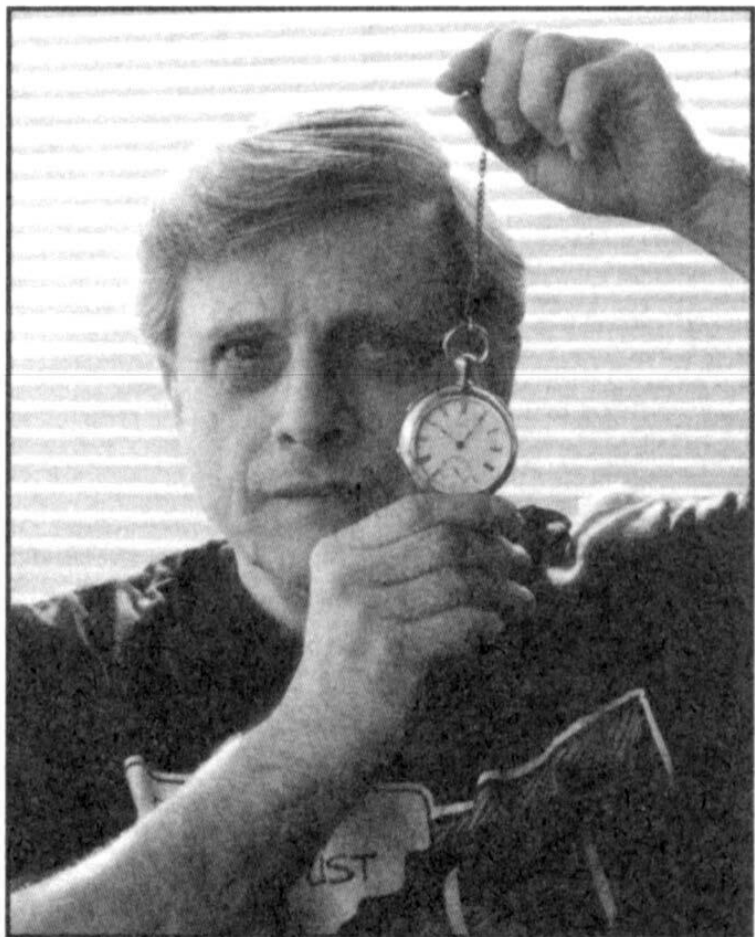
В промежутке между двумя этими датами пацан из Огайо опубликовал 74 книги, больше дюжины отмеченных всевозможными наградами кино- и телесценариев, более 1700 эссе, обзоров, статей, коротких рассказов и газетных заметок, завоевал больше премий в области литературного творчества, чем любой другой из ныне живущих писателей, не остался в стороне от всех ключевых социальных потрясений своего времени, номинировался на «Эмми» и «Грэмми», награжден Серебряным Пером ПЕН-клуба за свои работы в области журналистики и утвердился в качестве влиятельного лица в американской литературе, оказавшего влияние на сотни писателей, пришедших в нее следом за ним.

Наконец-то, в обширной ретроспективе, начинающейся и завершающейся двумя вышеназванными произведениями, все лучшее, что создал Харлан Эллисон за пятьдесят лет работы, собрано в одном роскошном, более чем 1200-страничном издании, включающем в себя фантастику, эссе, автобиографические заметки, обзоры и даже целую телепьесу (кстати, опубликованную впервые). Восемьдесят шесть пол-

ных примеров не имеющего аналогов творчества того, кого «Лос-Анджелес таймс» охарактеризовал как «Льюиса Кэрролла XX столетия».

Старательно восстановленные по оригинальным рукописям, не видевшим свет пять десятилетий (с исправлением всех редакторских ляпов, наслоившихся за время переизданий, с восстановлением утраченных фрагментов) эти работы – свидетельство исключительного таланта, послание миллионам его преданных поклонников, тщательно упорядоченное по темам и датам.

Итак, вот вам изданное с эксклюзивным предисловием выдающегося австралийского писателя и критика Терри Доулинга (в соавторстве с Ричардом Делапом и Джилом Ламонтом) «НАСУЩНОЕ» от Харлана Эллисона, и без знакомства с этим «НАСУЩНЫМ» ни один ценитель американской словесности не может считать свои познания в ней хоть отчасти полными. И – кстати, на заметку – в шестьдесят семь его глаза все такие же голубые, и сгусток все так же полон энергии.



Родившийся в Джайпуре, на северо-востоке индийской

провинции Раджастан, ХАРЛАН ЭЛЛИСОН – сын человека, летавшего еще до начала Второй Мировой войны «через Горб» в Бирму с «Летающими тиграми» полковника Шеннолта. Эллисон, талисман добровольческого авиаотряда, до тринадцати лет говорил исключительно на хинди и урду. Дважды раненый в стычках уличных банд, Эллисон с 1961 года был прикован к инвалидной коляске. Однако в своем доме в Эревоне, штат Колорадо, он, начиная с 1970 года, написал семнадцать поэм по 50 000 слов каждая. Любимое блюдо Эллисона – посыпанный карри мозг живой обезьянки, подаваемый с картошкой фри, как можно более хрустящей.

Прологомен
Размышления в канун
нового тысячелетия



Сегодня, когда до наступления нового тысячелетия осталось всего-то девять дней, я сижу и пишу это предисловие к толстому (такими хорошо подпирать дверь) собранию, аккумулирующему все «НАСУЩНОЕ» за пятьдесят лет работы меня, Харлана, писателя. Признаюсь, теперь в моих карманах значительно меньше энергии для разных там антраша и выкрутасов, чем было в те времена, когда я засел за первые, из вошедших в это собрание, рассказы. Впрочем, путешествие вышло просто чертовски увлекательным, так что я смотрю на свое нынешнее положение с оптимизмом: мне нет нужды оправдываться задним числом ни за случайность моих успехов, ни, напротив, за какие-либо «поломки» или заговоры с целью похитить меня. За меня на все сто процентов отвечаю только лишь я, и найти меня сейчас можно по координатам: 13.46, 22 декабря, пятница, 2000 год н. э.

В прошлую субботу мы с Сьюзен нагрянули к Леонарду Малтину на вечеринку-сюрприз по поводу его полтинника. На которой я познакомился с Дики Джонсом, озвучивавшим Пинокио в диснеевском мультике 1940 года. Здорово, правда? (теперь ясно, что я имел в виду, говоря, что путешествие вышло чертовски увлекательным?) Ну, и в какой-то момент Леонард, представляя меня собравшимся, сказал:

– Обратите внимание на то, что Харлан сегодня очень мил: с начала вечера прошло уже несколько часов, а он до сих пор ни с кем не поцапался.

Он не имел в виду ничего конкретного, но я почему-то почувствовал себя слегка уязвленным. Нет, правда, обидно! Многие, очень многие на протяжении многих лет говорили мне что-то в этом роде. Словно я какой-то дикий зверь, не способный к нормальным социальным контактам. Всемирно известная Неприятная Личность.

И это говорят люди, у которых в жизни нет других развлечений, кроме как изливать желчь в Интернете, которые постоянно твердят одно и то же: и почему это я такой злобный?

Ну, признаться, я и впрямь человек довольно злобный. Совсем недавно отдельные моменты моей работы с режиссером Дэвидом Туи над экранизацией моего «Демона со стеклянной рукой» привлекли внимание целой своры гиен, то бишь, тупиц, которые ни разу со мной не общались, но все же сочли своей обязанностью подчеркнуть, что я (пользуясь их выражениями) держусь «высокомерно». На что я мог бы ответить словами покойного Оскара Леванта: «Я не скромнее, чем того требует мой огромный талант».

Отец и мать воспитали меня вежливым мальчиком, но, признаюсь, я очень легко раздражаюсь в ответ на *небрежное* проявление жестокости, грубости, вопиющей глупости, свидетельства скупого духа, обскурантизм и тупое принятие абсурдных убеждений (к каковым я отношу НЛО, круги на полях, извлекаемые под гипнозом воспоминания о детских унижениях, Бога как объяснения того, что некто принял хороший пас и пробежал 80 ярдов до тачдауна, людей, лич-

но видевших йети, чихуахуа в микроволновке, Интернет как икону смены парадигм человеческой деятельности, а также предположения, согласно которым Джордж Буш-младший представляет собой нечто большее, чем одетое в костюм пустое место, оживленное гальваническим путем, а также истовыми молитвами христиан).

Полагаю, уж если я резок, если я груб, если срываюсь на рык и на дух не переношу идиотов, так это все единственно потому, что, если вы посадите милого зверька в клетку и будете шесть дней подряд тыкать его через решетку заостренной палкой, на седьмой день этот милый зверек, вероятнее всего, погнет прутья, вырвется на волю, оторвет вам левую руку и, сунув ее вместо шампура вам в задницу, сделает из вас шашлык.

И поэтому (что вполне правомерно) оскорбленный читатель, прочитавший и проглотивший, не прожевывая, сообщения о моем всеми признанном «высокомерии», вполне, повторяю, правомерно потребует объяснений, по какому-то праву я претендую на сходство с животным, в которого тычут палкой. Что, спросит оскорбленный читатель, породило в вас столь безумную, жалкую, эгоистичную и совершенно бездоказательную веру в то, что весь мир ополчился на вас, голубчика? Доказательства, будьте любезны, в студию!

Ну же, ребята, враги, причем настоящие, имелись даже у д-ра Ричарда Кимбла. Не грузите меня, оставьте в покое хоть ненадолго!

Ну, ладно. Так и быть, брошу вам косточку.

Я тут недавно болтал по телефону с Бобом Сильвербергом: он говорил из Окленда, только что прилетев из Турции, а я – из Лос-Анджелеса, только что выйдя из ванной; так вот, я рассказал ему об одном обстоятельстве, на которое обратил внимание лишь недавно, хотя тянулась эта история аж с 1956 года. Нет, я, правда, узнал об этом всего пару месяцев назад – терпение, минуточку терпения, я расскажу, что именно я имел в виду – а Боб возьми да и скажи мне, что даже в 1956 году (в тот год я впервые начал зарабатывать как профессиональный литератор) я уже служил посмешищем для профессиональных фантастов, находившихся на пике популярности и доминировавших в жанре. Боб припомнил (в самой очаровательной своей манере) нечто, о чем у меня не сохранилось ни малейшего воспоминания: подробности вечеринки, которую я устроил в своей нью-йоркской квартире вскоре после моей первой свадьбы – в 1956 году, в доме 150 по Западной 82-ой улице. На нее собрались все Великие и Почти Великие (включая даже С. М. Корнблата – ума не приложу, как я ухитрился забыть об этом), и Боб утверждает, что его ужасно «расстроило» то, как все эти звезды научной фантастики явились *ко мне*, ели *мою* еду, пили *мое* вино и при этом шептались о том, какая я «бесталанная задница».

Скорее всего, я – к счастью, не иначе – похоронил это воспоминание. Не могу благодарить Боба за то, что он на-

помнил мне, каким посмешищем я был, по его словам, «до тех пор, пока ты не написал: “Покайся, Арлекин!” – сказал Тиктак”».

Однако это заставило меня призадуматься о том, как я ухитрился стать тем, в кого наряжаюсь каждый день: Харланом Эллисоном, который мне, вроде бы, вполне впору – ну, слегка великоват в плечах, немного жмет в ягодицах, чуть слишком раздражителен для того, кто хотел бы, чтобы его считали нормальным. И я задался вопросом: может ли моя обычная паранойя насчет Злонамеренных Сил, состоящих в заговоре против меня любимого, стать достаточным поводом для того, чтобы все эти лузеры в Сети заклеямили меня как «высокомерного» и, ну, осмелюсь сказать, «капризного»?

Я обещал вам косточку?

Это фотография страницы из июньского номера «Райтерс дайджест» за 1956 год. Тогда я ее не видел. Мне ее прислал всего несколько месяцев назад, в сентябре 2000 года, один знакомый член Гильдии американских писателей. Случайный знакомый, по доброте своей решивший, что мне этот номер – часть толстенной подшивки, от которой он собрался избавиться – вдруг да и пригодится. Поэтому, спустя сорок с лишним лет эта вещь, наконец, засветилась на моем радаре. Посмотрите на нее.

Если вы чешете в затылке, не в силах понять, что в этом такого особенного, и с какой стати Эллисон приводит это спустя сорок лет, позвольте мне кое-что пояснить.

Это письмо – абсолютная подделка.

Я его не писал!

Его прислали в РД, журнал, печатающий преимущественно нетерпеливых любителей, полных надежд новичков – не профессионалов, если не считать редких эссе на тему «как надо писать». Люди, пишущие такие письма, как правило, просто забавляются. Но это письмо, написанное анонимным провокатором, чье имя, скорее всего, останется мне неизвестным, было напечатано в самом начале моей карьеры с единственной целью: подразнить меня. Потому что к моменту, когда оно попало в печать, я продал уже более ста рассказов, мне исполнилось двадцать два года (не шестнадцать!), и я зарабатывал порядка десяти штук в год, что по меркам 1956 года было очень и очень неплохо.

Уже тогда, спустя всего лишь год (!) с начала моей карьеры я уже служил чьей-то мишенью. Боб Сильверберг, несомненно, ничего не напутал в своей лекции по истории. Я, вполне возможно, был посмешищем для всех этих вежливых, доброжелательных, всегда готовых прийти на помощь профессионалов, старавшихся единственно подстегнуть меня в моем стремлении к совершенству. Возможно мне и не стоит ворчать после пятидесяти лет кропотливых трудов, лучшие

из которых (ну, не факт) собраны в этом толстенном томе.

Уж это я как-нибудь да переживу. К лучшему или худшему, дурак я или художник, неоперившийся сопляк или старый пердун, я именно тот человек, именно тот художник, каким вылепил себя сам.

За все мои работы в ответе лишь я один. И еще одно: я, мать вашу, пока еще здесь.

А ТЕПЕРЬ ИДИТЕ И ЧИТАЙТЕ КНИГУ

Эликсиры Эллисона.
50-летняя ретроспектива под
редакцией и с предисловием
Терри Доулинга при участии
Ричарда Делапа и Джила Ламонта.
Публикуется с разрешения Автора

Все персонажи, места и организации в этой книге – за исключением несомненного общественного достояния – вымышлены, и любое сходство с реальными персонажами, местами или организациями, живыми, мертвыми или более несуществующими, является чисто случайным. За исключением эссе, отмеченных именно в этом качестве, все произведения являются плодом авторского вымысла.

Благодарности

Ни один проект подобного масштаба невозможно было бы претворить в жизнь без мастерства и самоотдачи архивистов, художников и просто помощников, которые трудились над ним долго, упорно и придиристо.

Упоминание здесь – это то малое, чем я могу отблагодарить их за труды, которым, казалось, не будет конца. Эта книга создавалась в течение долгого времени, и многие из отмеченных здесь людей трудились на галерах с самого начала. По крайней мере, теперь они будут знать, что автор этих произведений никогда не испытывал иллюзий насчет того, что смог бы сделать все это в одиночку.

Хотя Альцгеймер еще не предъявлял прав на благородного Автора, с инициации этого проекта прошло довольно много лет, и, если кто-то, заслуживающий благодарности на этих страницах, каким-то образом выпал из списка, вся вина в этом лежит исключительно Сами-знаете-на-ком.

Шэрон Бак

Сара Коуттс

Джеймс Коуэн

Ричард де Конинг

Ричард Делап

Лео и Дайан Диллон

Терри Доулинг

Арни Феннер
Шарлет Фостер
Джефф Фрейн
Тодд Иллиг
Сэнди Камбергер
Кен Келлер
Джил Ламонт
Андреа Левин
Джефф Левин
Джим Мерей
Кевин «Док» Римз
Кэти Рош-Зуйко
Джим Сандерсон
Джон Сноуден
Дебра Спайделл
Лесли Кей Свайгарт
Сара Вуд
Сьюзен Эллисон (то есть, жена)

Благодарности в обязательном порядке заслуживают также все издатели и редакторы, как продолжающие трудиться сейчас, так и те, кого больше нет с нами, и которые, правда же, сделали возможным появление этой книги – от Ларри Шоу в 1955 году до Кейта Феррелла, Селби Бейтмен и Шоуны Маккарти неделю назад – тем, что впервые опубликовали работы существа, чья жизнь заключена под этой обложкой – огромное спасибо им всем!

Поскольку они всегда были со мной – и в качестве непревзойденных генераторов мечты, и в качестве верных друзей – эта толстая книга посвящается Великим:

АЛЬФИ БЕСТЕРУ И РЭЮ БРЭДБЕРИ

– Х.Э.

А также моим родителям, Мэри и Биллу, которые никогда не забудут тот день, когда к ним заглянул Харлан.

– Т.Д.

ПРИМЕЧАНИЕ: все представленные здесь работы Харлана печатаются в выбранных им самим вариантах. Доверяйте этим и никаким другим.

Предисловие Терри Доулинга: Возвышенный бунтарь

В 1979 году издательство «Уайлдвуд Хаус» напечатало книгу «БУНТАРЬ В ТВОЕЙ ДУШЕ», авторский перевод Бики Рид одного из Берлинских папирусов. В своем прочтении этой египетской легенды времен Среднего царства Рид впервые открыла нам истинную сущность Иаи, божества с головой осла, неизвестной прежде ипостаси бога солнца Ра, и тем самым смогла сделать первый осмысленный перевод этого восхитительного древнего текста.

В египетской мифологии Иаи – один из самых любопытных персонажей. Это бунтарь, олицетворение интеллекта и проницательности, с ослиным упорством отстаивающий свои позиции, порой бросая вызов тому, что почитается всеми как истина. Несгибаемый бунтарь того же типа, что мальчик, крикнувший, что король голый, или Шут, заявивший королю Лиру, что тот заблуждается. Эти бесценные бунтари (которых хватало во все времена) не только осмеливаются задавать вопросы, но и отдаляют себя своими страданиями от тех, кто вопросов не задает, кто даже не думает их задавать и кто теперь выглядит дураком потому, что этого не сделал.

Лишающие покоя бунтари. Гипатия. Джордано Бруно. Люси Стоун. Сьюзен Б. Энтони. Джон Т. Скоупс. Оливер

Уэнделл Холмс. Ленни Брюс. Ральф Нейдер. Джон Питер Зенгер.

Харлан Эллисон.

Эта книга – портрет художника, возвышенного бунтаря.

К счастью, это собрание не обязано быть собранием «Лучшего» (хотя, разумеется, в него включены и многие его лучшие работы). Поэтому нам не стоит беспокоиться насчет каких-то несоответствий. Нет, скорее это исчерпывающая демонстрация – как есть, со всеми бородавками, – творчества человека, являющегося идеальным, нагляднейшим воплощением Иаи своего времени (со всеми его эксцессами, колебаниями и инертностью). На примерах его ранних работ мы можем наблюдать, как он начинал, пути, которыми он шел к своему зрелому стилю, к своей цели: стать ведущим фантастом-лауреатом, более важным в мире словесности, чем, возможно, признает он сам.

Таким образом, это взгляд на процесс.

Хотя работы Харлана хорошо известны и высоко ценятся, в плане составляющей их ядро социальной ответственности сделано далеко не так много, как хотелось бы. Точнее говоря, это измерение вообще часто упускается из виду, так что главный посыл его фантастических опусов сводится критиками к совершенно тривиальным аспектам. А если общество перестает обращать внимание на Шута, на Плута и на Умника, значит, пора бить тревогу.

Уверен, многим читателям хотелось бы, чтобы Харлан

был просто хорошим фантастом, чертовски хорошим писателем и в меньшей степени Иаи. Однако в рассказах Харлана неизменно присутствует некая не дающая покоя острота, я уже не говорю про его статьи и эссе. Так что никуда вам от этого не деться.

И в конце концов Харлан становится «Врагом Народа» – в том смысле, в каком говорил это Ибсен. Он не умеет общаться с дураками, сохраняя на лице милую улыбку. Он ненавидит глупость, фанатизм, предрассудки, застой, не допускающий здоровых перемен, а злоупотребления, совершаемые по неведению, выводят его из себя не меньше, чем умышленные. Он правомерно полагает также, что каждый имеет право на свое мнение только в том случае, если оно является обоснованным, а еще что на нас лежит обязанность не останавливаться в своем образовании, становиться наилучшей версией себя самого.

Но если так, Харлан на деле стоит на стороне цивилизации, занимаясь ее исцелением! Исцелением того рода, о котором Юнг говорил: «Любая перемена должна с чего-то начинаться, и начинается она с отдельного индивида, который почувствует ее и начнет претворять в жизнь».

Человеческое общество очень редко относится с теплотой к своим «людям эпохи Возрождения»: естествоиспытателям, первопроходцам, целителям, которые представляются ему просто вздорными смутьянами. Ибо по злой иронии они часто оказываются индивидуалистами, одиночками, сво-

бодными радикалами, теми, кого от природы тянет бросить вызов, расширить и очистить общество, а не просто служить ему. Стоит ли удивляться тому, что тех, кто сыплет соль на раны, задавая неудобные вопросы, пытаются нейтрализовать заговором безразличия или, наоборот, скептическим негодованием. Зависть, страх и чувство вины мутят чистые воды здравого смысла, когда речь идет об этих живых катализаторах и целителях, а вместо должного уважения, должного признания общество награждает их, скорее, охотой на ведьм.

Ибо ложь, слухи и ложная интерпретация всегда служили оружием борьбы против Бунтарей, единственным способом, которым могут ответить выставляемые ими напоказ. Искажением образа Иаи. Чем точнее и эффективнее их критика, тем больше искажений используется в защите от нее.

Мы не можем позволить, чтобы такое произошло с Харланом, хотя мы не должны забывать, почему это вообще происходит.

Образцами для подражания Харлану служат Говорящий Сверчок и Зорро, но никак не Торквемада, не Джек-Потрошитель и не Ричард Никсон.

И, поскольку безразличие является еще одним, освященным веками орудием нейтрализации Бунтаря, посмотрите, какими орудиями пользуется Харлан для достижения своей цели: шоком, внезапностью, гротеском, страданием и жестокостью, острым языком, резкими жестами, а также эмоциями посильнее – такими, как страх, гнев, чувство вины, боль

и любовь. Он орудует идеями, порой столь полными любви и сострадания, что они потрясают одной своей чистотой; порой усеянными шипами, которые цепляют нас, и язвят, и заставляют нас ЧУВСТВОВАТЬ.

А еще он оперирует возбуждением. Даже без восхитительных зарисовок из собственной жизни (а он остается одним из самых откровенничающих писателей наших дней), мы не можем не ощутить возбуждения, с которым он наблюдает и описывает жизнь. Это правда.

Доктор Джонсон гордился бы таким. Шекспир (великий творец Бунтарей и Шутов) наверняка одобрительно бы улыбнулся. Потому что здесь и таится истинный размер достигнутого. Эллисон так же держит руку на пульсе своего времени, как Чосер, и Шекспир, и Диккенс – на пульсе своего.

Стоит, однако, заметить, что – подобно многим Великим, многим целителям и просветителям – у Харлана на сей счет просто не было выбора. Он не мог жить так, чтобы его не бесили, не провоцировали, не заставляли высказываться. Он не мог не лезть на рожон и не получать за это по полной. На ступенях Александрийской библиотеки он врукопашную пошел бы на толпу с пылающими факелами, тогда как интеллигентные библиотекари пытались бы увещевать поджигателей цитатами мудрецов – сами понимаете, с каким результатом.

Типичное поведение Иаи, провокатора цивилизации, преданного своей опасной и неблагодарной работе.

Впрочем, Харлан творит много и вполне цивилизованно-

го, целенаправленного и ответственного. Над его рабочим столом висит высказывание философа Аллена Тейта:

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЕСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАТЬ ХАОСА».

Правда, слово «есть» в этой цитате превратилось в наше время в «должна бы быть». Если уж информированные и ответственные согласились игнорировать зияющую бездну, это возможно только в том случае, когда цивилизация соответствует своему назначению, а не превращается в косметическую, обманывающую сама себя подмену.

В противном случае игнорировать эту бездну мы не имеем права. Игнорирование ее стало бы для человечества фатальным.

Харлан беспощаден и нетерпим к косметической цивилизации с ее самодовольством, которое славит прорывы в технологиях, но выказывает ужасающее пренебрежение к защите прав человека, восхваляет информационную революцию, но вполне терпимо относится к непрерывно растущим неграмотности и праздности.

Нет, несмотря на абсолютную точность суждения Тейта, оно остается лишь идеалом, напоминанием. Подход Харлана к писательству гораздо ближе к тому, что описывал Андре Бретон в «Манифесте сюрреализма», говоря о том, что «узенький мостик через пропасть ни в коем случае не должен ограждаться перилами».

Ибо нет ничего вернее утверждения, согласно которому

Харлан Эллисон сделался еще и этакой лакмусовой бумажкой цивилизации, ее контролем качества, настоящим Бунтарем в том смысле, который вкладывает в это слово Бика Рид, целью которого является не позволять человечеству игнорировать бездну, порождающую Третьи Рейхи, и Вьетнамы, и сенаторов Джозефов Маккарти, и Ричардов Никсонов. Он исполнен решимости заставить нас противостоять этой бездне всеми возможными средствами, любым ее проявлениям, таким, как расовая предубежденность, коррупция в обществе, индивидуальная бесчестность, бездумное поглощение продукции современных телевидения и популярной литературы. Он не желает, чтобы мы и дальше оставались тупицами, прятали голову в песок, бездумно обманывались. И он не позволит нам так просто отделаться от себя.

Собственно говоря, Харлан наводит для нас мосты через эту пропасть – изящные, стройные виадуки, сложенные из материала истинной цивилизации, бесценные, но хрупкие, прекрасные, но не всегда устойчивые.

Многих так называемых цивилизованных людей воротит от одного вида этих наведенных Харланом мостов. Дело в том, что, с одной стороны, пропасть, о которой не устает напоминать нам Харлан, находится прямо здесь, под самыми нашими ногами. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы наша цивилизация казалась мелкой и преходящей, этакой мерцающей во мраке свечой, а вовсе не ослепительным светиллом.

А во-вторых, как мы помним, у этих мостов нет перил, и идти по ним вам предстоит на свой страх и риск.

Что, вообще-то говоря, довольно справедливо. Слишком многие из нас предпочитают не признаваться в том, что эта пропасть здесь, совсем близко, что, стоит ткнуть нас в нее носом, и полумерами здесь уже не отделаться. Замысел Харлана состоит в том, чтобы, используя всю прелесть идей, персонажей и ситуаций, представляющихся нам совершенно реальными, используя свой дар рассказчика, заманить нас на такой мост, а потом спросить: «Ну, как дела? Как вам вид?»

Стоит ли удивляться тому, что столь многие бегут обратно к краю пропасти (а некоторые даже переходят на другую ее сторону, так грамотно их заманили на этот мост), а потом начинают выкрикивать всякие обидные слова вроде «сноб», «псих», «антихрист»; некоторые, впрочем, предпочитают цепляться за свое привычное оружие: безразличие.

Так вот, теперь вы знаете, кто ваш Бунтарь.

Попробуйте увидеть его истинную сущность, ибо он при всем желании не может быть другим.

Когда я пишу эти строки, Харлан приближается к своему пятидесятилетию. Говорящему Сверчку – сорок четыре. Зорро – шестьдесят.

Иаи, как всегда, не имеет возраста.

На странице 79 Берлинского папируса № 3024, переведенного Бикой Рид, Душа, отвечая Телу, говорит:

– Брат, пока ты горишь, ты принадлежишь жизни.

Раз так, Харлан здесь, с нами, горя, переживая, наводя мосты через пропасть, стоя на ступенях Александрийской библиотеки в ожидании толпы поджигателей. Делая нашу цивилизацию лучше.

Лос-Анджелес, Калифорния.

10 декабря 1983 года.

Терри Доулинг

Lagniappe

Слова способны на все. Есть один восхитительный, отчаянный момент в рассказе Харлана 1972 года «На спуске с холма»: в нем Пол Ордадь, сам не свой при мысли о том, что он теряет Лизетту, выкрикивает старое креольское словечко, которым в Новом Орлеане пользуются, когда хотят небольшой добавки: “*Lagniappe!*” Это одно из тех замечательных слов, которые так приятно открывать для себя и добавлять в свой словарь, чтобы потом использовать как родное.

Слово это, пришедшее из Южной Луизианы и Юго-Восточного Техаса в 1840-х годах, произносится как «лан-яп». Сегодня оно означает преимущественно комплимент от продавца, мелкий подарок или бонус, добавляемый к покупке. Но в те времена это понятие было шире, богаче, идеальный *cri de coeur* Пола Ордаля в харлановом рассказе – ну, и вполне подходящее слово для нового издания «Насущного». Lagniappe. Небольшая добавка.

Вообще-то, произведения искусства редко идет на пользу избыток исправлений. Не говоря уже об У. Х. Одене и Джордже Лукасе, книги, рассказы, картины, кино, спектакли, рок-альбомы и симфонии подобны обещаниям, сделанным в самые что ни на есть чистые и светлые моменты жизни – и сколько же раз старшее «я» предает младшее в испыта-

нии суждений, верности и дружбы (да, дружбы!), обманывая в результате эти обещания!

Но есть еще и такая вещь, как почтительная забота: выполнение рутинной работы по исправлению опечаток, изменение словечка тут и выражения там, выпадающих из текста, или не звучащих, а иногда даже добавление строки или целого параграфа, которые намечались в тексте с самого начала, но в силу каких-то ужасных причин так и не были добавлены в предыдущих изданиях. Тут главное знать, когда пора дать себе по рукам, потому что есть искушение привести все в порядок, даже рассказать, как это могло бы быть, заняться откровенным ревизионизмом и заново изобрести себя. Кстати, все это – очень модные в последнее время слова.

Мы не можем поступить здесь так, если хотим исполнить обещания молодого Харлана и его издателей, их намерение напечатать истинное отображение жизни в литературе, ту книгу Харлана Эллисона, которую вам хотелось бы захватить с собой на необитаемый остров, литературную ДНК, по которой вы смогли бы восстановить автора. Ну, по крайней мере, его основные составляющие.

И, поскольку «ЭЛЛИСОН. НАСУЩНОЕ» честно пыталась быть именно такой книгой в первом издании, она должна остаться такой и в этом. И по названию, и по природе своей это книга, к которой надо будет возвращаться вновь и вновь – точно так же, как любая автобиография или биография должны непрерывно дополняться, чтобы оставать-

ся полными. Здесь не будет «Птицы Смерти 2.0», не будет «Джеффи двадцать лет», не будет «Странного вина нового урожая» или «Еще более мягкой обезьянки», но это не значит, что над этой книгой не трудились. В общем, это, действительно, рутинные штрихи, которые помогли превратить тридцатипятилетнюю ретроспективу в пятидесятилетнюю, растянув и дополнив ее так, чтобы она сделалась полной и в буквальном, и в переносном смысле.

И что мы обнаружим, глядя на годы, прошедшие с 1984-го, когда вышло первое издание «НАСУЩНОГО»? Для начала – два больших сборника: «Злобная тянучка» (1988) и «Скольжение» (1996) – и даже три, если считать «Поля разума», изданные в сотрудничестве с Яцеком Йеркой (1994) – тридцать четыре картины Йерки, сопровождаемые тридцатью тремя рассказами Эллисона. Увидим проект Харлана Эллисона «Коридор мечты», в котором Харлан возвращается к истокам, к комиксам, и резвится в этом неизменно любимом им жанре. Увидим его в роли творческого консультанта в возрожденном сериале «Сумеречная зона», пятилетнюю кабалу в качестве консультанта, а на деле мастера на все руки, в «Вавилоне-5», а также шесть лет противоречивых, откровенных выступлений в телепрограмме, посвященной фантастике – как всегда забавного, капризного и остроумного, как всегда, выступающего в амплуа занозы под кожей общественного блага. Общественное благо – еще одно из этих милых словечек. Харлан уже много лет является од-

ним из наиболее достойных его строителей.

И, раз уж мы заговорили о словах, возможно, мы можем употребить здесь еще одно французское слово «*malgré*» («несмотря на», «вопреки»). Потому что эти годы выдались для Харлана весьма и весьма тяжелыми. Изнурительное, мучившее его в 80-е годы состояние, диагностированное как связанный с вирусом Эпштейна-Барра синдром хронической усталости, в начале 90-х обернулось серьезными проблемами с сердцем, потребовавшим две следующих друг за другом операции по ангиопластике (из-за чего ему в январе 1996 года пришлось прервать свой визит в Австралию), а потом и еще четырех – по шунтированию сосудов.

Поэтому все эти дополнения во многом являются результатом того, что Харлан остался Харланом несмотря на проблемы с сердцем (как выяснилось врожденные), несмотря на сопутствующее этому отупляющее недомогание, несмотря на землетрясение в январе 1994 года, которое угрожало жизни его любимой Сьюзен, повредило его замечательный дом, сбросило его с лестницы, сломало ему нос и разбило (ну, не совсем, но все же) его сердце. Эти дополнения, это завершение антологии – часть разнообразных и всегда интересных трудов этого нелегкого периода, написанных во времена стрессов и ограничений, а иногда и вопреки им.

И как же смотрятся эти свежие дополнения на общем фоне? Ну, скажем так, выделить ключевые темы в обзоре за пятьдесят лет проще, чем за тридцать пять; то же относится

к авторским интересам и аспектам творческого процесса. Не в терминах сухого академического анализа, нет, но благодаря тому, что чем дальше, тем яснее все это обрисовывается — и, опять-таки, помогает понять жизнь литератора. Как удачно рассказы о посещении загадочных мест, древних богах, старых мифах, старых слабостях вроде «На плите», «Темноты на фоне глубины» или «Разговоров с Анубисом» вписываются в более ранние «Рассказы Птицы смерти». Как легко найти в «Человеке, который пригнал корабль Колумба к берегу», «Бледно-серебряном долларе Луны...» или «Где я буду жить в следующей жизни» тот же сплав ритма, причудливости, связей, точно схваченных моментов и образов, той же самой энергичной решимости исследовать форму, которая столько десятилетий была частью очарования Харлана.

Ибо Харлан не только усердно работает над процессом отслеживания, он упивается им, создавая другое хорошее французское слово, если хотите, «*jouissance*»: изобилие, восторг, ощущаемый в акте простого бытия и простого созидания.

И не забывайте: все эти эксперименты и исследования всегда были частью творческого пути этого писателя. В давнее, не столь цинично бедное время, эти поиски больше касались содержания и посыла, нежели структуры и стиля. Таковы провокационные, выталкивающие нас из нашей зоны комфорта сюжеты рассказов «У меня нет рта, и я хочу кричать», «Визга побитых собак» и «Птицы Смерти». Помните,

когда появились эти истории – ослепительно-яркие, актуальные для того времени? Помните, какой резонанс возымели тогда они и их автор? Актуальность для любого художника, как в свое время, так и вне его, всегда остается высшим комплиментом, и чего бы Харлан ни достиг еще, он остается актуальным, продолжая проливать литературную ДНК для восстановления духа эпохи, чувства времени.

Теперь, после «Опасных видений» и «Новых опасных видений» мы – читатели, комментаторы, а также братья и сестры по писательскому цеху – видим в этих рассказах добытое знание, творческие ориентиры, часть литературного ландшафта, направляющую наши собственные эксперименты и искания. Не нужно забывать, кому мы этим обязаны.

Стоит сказать, каким истинным и неожиданным удовольствием было перечитывать рассказы для этого издания: неожиданным, потому что, вроде бы, давно все это знаешь – и все же кажется, что открываешь заново, что такое настоящий Харлан. Говорят – и довольно часто – что рассказчик рассказывает свои истории не только для того, чтобы ими поделиться, но и для того, чтобы освободиться от них, стряхнуть их груз. Что ж, у Харлана ожидают завершения дюжины, сотни рассказов, некоторые почти завершенные, многие – настоящие алмазы, ожидающие огранки. Это нелегкий груз, настоящее сокровище, еще ожидающее включения в эту книгу в ее последующих изданиях.

Но пока что здесь представлены только эти: шестнадцать

дополнительных шедевров, написанных вопреки, полных напряжения, *jouissance*, поиска, гениально пойманных мгновений, отмеряющие надевание и стряхивание той ноши, что составляет суть каждого дня в жизни каждого из нас.

Но в первую очередь – *lagniappe*, крошечная добавка чего-то, поистине драгоценного, маленький комплимент тем из вас, кто начал это путешествие уже давно. Для тех же из вас, кто новичок в путешествии с этим человеком и его работой – это полная мера того, что он дарит нам сейчас. Отчетливо видная, хорошо запоминающаяся, актуальная – Страна чудес Эллисона.

10–16 января 2000 г.

I

В начале

«Я не собираюсь извиняться ни за малоизящную прозу, ни за неудачные сюжеты, ни за грамматические ошибки»

*«Линчующие булавки и поворотные моменты»,
ФАНТАЗИИ ХАРЛАНА ЭЛЛИСОНА, 1979*

В лекции, прочитанной в начале 1920-х годов в петроградском Доме Искусств (опубликованной чикагским университетом в 1970 году под названием «Психология творчества») Евгений Замятин говорил: «Искусство развивается, подчиняясь диалектическому методу... Искусство работает по принципу пирамиды: в основе новых достижений положено использование всего накопленного там, внизу, в основании пирамиды. Революций здесь не бывает, не больше, чем где-нибудь еще, — лишь эволюция. И нам необходимо знать то, что в области техники художественного слова было сделано до нас. Это не значит, что вы должны идти по проторенным путям: вы должны вносить что-то свое. Художественное произведение только тогда и ценно, когда оно оригинально и по содержанию, и по форме. Но для того, чтобы прыгнуть вверх, надо оттолкнуться от земли, надо, чтобы была земля».

Аудитория 1920-х годов сильно отличалась от аудитории

нового тысячелетия, и все же суть этого послания не устарела. Вот вам земля, от которой отталкивался Харлан Эллисон для прыжка вверх.

Каждое путешествие начинается с чего-то, и даже самое долгое путешествие начинается с одного шага. Крохотные шажки Харлана помогают нам оценить грандиозность его последующих странствий, но даже в ранних работах очень скоро прорезаются темы, преобладающие в его дальнейшем творчестве.

Нет нужды просить Харлана извиняться за шероховатость этих ранних рассказов, равно как не стоит просить его править, чистить или каким-либо другим способом совершенствовать эту прозу (см. приведенную выше цитату из «Линчующих булавок и поворотных моментов»). Они стоят или падают, подчиняясь собственным законам, и представляют собой скорее исторический, нежели художественный интерес, так что пускай остаются как есть.

«Меч Пармагона» и «Глоконда» изначально публиковались сериями коротких фрагментов (5 и 7 фрагментов соответственно) в колонке «Рейнджерс» журнала «Кливленд ньюс», 1949 год. Харлану только что исполнилось пятнадцать, поэтому можно утверждать, что в некотором роде это первые «профессиональные» публикации Харлана (в биографии, написанной Лесли Кей Свайгертом, утверждается, что гонорар выплачивался автору билетами на матчи баскетбольной команды «Кливленд Индианс»). Этими коротеньки-

ми рассказчиками Харлан впервые дотянулся до более широкой читательской аудитории, чем прежде, когда она ограничивалась лишь его родными и близкими. В данном издании они – включая авторские иллюстрации – печатаются впервые с того давнего 1949 года.

В 1953 году Харлан начал писать для юмористического журнала Университета штата Огайо, одного из трех лучших в стране (другие два издавались в калифорнийском Беркли и Гарварде). Помимо колонки университетских слухов и сплетен (которую он вел совместно с Уинди Флайтер), Харлан давал туда липовые рекламные объявления, придуманные интервью, короткие пьески, рассказы и всевозможную сатиру. «Еще круче» (как часть «Посвящения Марлону Брандо») и «Сага о Джо-Пулеметчике» появились в январе 1955 года в номере, редактором которого был сам Харлан. Это знаменует вершину его университетской карьеры: в том же месяце он был исключен.

«Светлячок» (1956) стал первым рассказом, проданным Харланом профессиональному журналу (как он сам объясняет в предисловии, написанном спустя двадцать лет и включенном в настоящее издание в несколько дополненном и исправленном виде). Даже в этой ранней работе (воспроизведенной в изначальной рукописной версии) Харлан уже начинает играть с условностями научной фантастики. Главный герой называет себя «уродом», и положение, в котором он оказывается, не сулит ему ничего, кроме одиночества и от-

чаяния в мире, приближающемся к своему концу. Согласитесь, немного мрачновато для жанра, который принято считать детской пустышкой.

«Аварийная капсула» (1956), опубликованная всего через два месяца после «Светлячка», наглядно демонстрирует быстро растущее писательское мастерство, хорошее чувство темпа и грамотно организованные экскурсы в историю. Этот рассказ прост в изложении, но при этом щедро вознаграждает читателя за внимание. Заявленные здесь темы время от времени всплывают и в более поздних рассказах Харлана: конфликт страха и решимости отдельно взятого индивида вообще лежит в основе его литературного творчества.

«Только стоячие места» (1957) – лаконичный комментарий к алчности и шаткости моральных устоев. Под приятной глазу оболочкой таится окровавленный нож. Как и положено хорошей сатире, юмористические нотки удачно контрастируют с классическим ужасом.

От подростка-фантазера до проницательного социального комментатора – всего за восемь лет. Право же, потрясающий рывок!

И это всего лишь начало...

*«Я ужасно боюсь умереть, не записав всех
теснящихся во мне рассказов»*

«Куда уводят шальные мечты», предисловие к
сборнику «ИЗ СТРАНЫ СТРАХА», 1967

Меч Пармагона с рисунками пятнадцатилетнего Харлана Эллисона

Глава 1: Пещера

Кончалось лето 1503 года. День стоял жаркий, и самая страшная жара царила в Англии, где солнце палило с такой силой, что сыр плавился даже в тени. Так и вышло, что Филипп де Пале, сын Говерна де Пале из Данкашира, в надежде укрыться от зноя брел по дуврским утесам.

«А что, неплохая идея», – думал Филипп, осторожно спускаясь по узкой тропе к морю. Сниму меч и одежды, свяжу их в узел, закину на спину и вернусь в город вплавь – здесь, вроде, неглубоко.



И Филип расстегнул свой украшенный самоцветами пояс, на котором висел дорогой меч. Потом снял башмаки, рубаху и шапку, привязал все это себе на спину и нырнул головой вниз в прохладную воду.

Глубже и глубже погружался Филип, и вдруг подводное течение захватило его и потащило куда-то в сторону. А когда воздух в легких, казалось, вот-вот закончится, поток вытолкнул его наверх, и спустя секунду он жадно глотал воздух.

Немного отдышавшись, Филип принялся оглядываться по

сторонам и к изумлению своему обнаружил, что оказался в огромной пещере! Должно быть, поток протащил его под скалами в не видимый с берега подземный грот.

Продолжая оглядываться, он заметил в дальнем конце пещеры серые от времени обломки корабля. Медленно, с опаской Филип приблизился к нему. Это оказалась древняя ладья викингов.

«Наверное, она давным-давно разбилась о скалы, а течение затащило ее сюда», – подумал Филип.

И тут он увидел!!

Скелет, сжимавший в костяшках пальцев МЕЧ!

Глава 2: Светящаяся находка

Филип осторожно подобрался к скелету и склонился над ним. Стоило ему коснуться скелета рукой, как кости рассыпались в пыль, и остался только прислоненный к сырой стене меч.

Филип взял его в руки и заметил, что от меча исходит неяркое белое сияние. Сам меч был прекрасен: золотой, с рубинами на рукояти. Ближе к эфесу на клинке виднелась надпись на языке древних норвежцев.

«ОБЛАДАТЕЛЬ МЕЧА ПАРМАГОНА, – разобрал Филип, – ОБРЕТЕТ СИЛУ И МУДРОСТЬ, КАКИХ НЕ ВЕДАЛ ПРЕЖДЕ!»

Странное ощущение испытал Филип, дотронувшись до

клинка: словно тот наполнил его необузданной силой.

Тут вдруг до него дошло, что он уже не первую минуту стоит, сжимая в руке меч. Однако же приключение становилось опасным! Вот он стоит в глубине дуврских скал, вдали от людей... И как ему отсюда выбираться?

Меч в его руке вдруг задрожал – так сильно, что Филип не удержал и выронил его. Из клинка ударил луч света, уткнувшийся в стену, в щель, которую Филип, наверное, и не заметил бы! Только теперь до Филипа дошло, что меч вовсе не простой – он пока не знал, в чем именно, но был благодарен и за это.

Подняв меч с земли, он подошел к отверстию в стене и увидел древнюю каменную лестницу, ступени которой уходили вверх, в темноту. Выставив перед собой меч, светивший ярко, не хуже иного факела, он осторожно начал подниматься.

Выше и выше карабкался он; казалось, подъему этому не будет конца, и, наконец, далеко наверху забрезжил свет. Из последних сил, задыхаясь, одолел он бегом последние ступени и оказался перед тяжелой деревянной дверью. Филип разглядел на стене рядом с дверью рычаг, потянул его, и дверь скользнула в сторону, открыв его взгляду залу, полную мушкетов, кинжалов, мечей, бочек с порохом и прочих орудий войны. А посреди всего этого восседал на троне враг семьи де Пале, барон Ковель, **ЧЕРНЫЙ БАРОН!**

Глава 3: Военный план



– Ты! – вскричал барон, подпрыгнув на троне. – Де Пале! Как же, черт тебя подери, ты сюда попал?

Филип попятился в угол и выставил перед собой меч, который засветился ярче, чем прежде.

– То есть, – вежливо произнес он, – вы хотите сказать, что не знали о выходе из пещеры?

– Дед говорил мне о таком, но я так и не смог его отыскать, сколько бы мои люди ни старались, – отвечал барон. – И раз уж ты наткнулся на мою тайну, отсюда тебе не выйти. Во всяком случае живым!

– А что это у вас за зала такая? – поинтересовался Фи-

лип. – Арсенал?

– А вот и нет, – отвечал барон со зловредной ухмылкой. – Это, можно сказать, моя козырная карта. С ее помощью я покорю все земли трижды проклятых де Пале!

Рука барона метнулась к стене за тронем, и в ней тотчас же оказался тяжелый боевой топор. С воинственным воплем барон прыгнул с трона и бросился на Филипа. Барон замахнулся топором, Филип отпрянул в сторону, машинально прикрывшись мечом Пармагона. К его изумлению, клинок перерубил металлическую рукоять топора как пушинку. Меч при этом засиял еще ярче, словно в насмешку над неуклюжестью барона.

Филип перепрыгнул через штабель арбалетов и бросился наутек. За спиной его тяжело топал вдогонку барон, поэтому он распахнул первую попавшуюся дверь и нырнул в нее. И оказался в комнате, совершенно пустой, если не считать маленькой двери в противоположной стене. Филип бросился к ней и забежал внутрь.

Дверь, как выяснилось, вела на псарню, и одного взгляда хватило, чтобы кровь застыла у Филипа в жилах. У противоположной стены рвались с цепей пять кровожадных псов.

Перепуганный юноша сразу понял, почему эти твари такие тощие. Псов держали здесь для собачьих боев, а кормили плохо для того, чтобы озлобить до последней степени. Все пятеро смотрели на пришельца как на лакомый кусочек, а потом один из псов вдруг перекусил цепь и бросился на Фи-

липа!

Глава 4: Длинный бикфордов шнур



Обезумевший от голода пес повалил Филипа на пол и навалился сверху всей своей тяжестью. К своему ужасу юноша сообразил, что выронил меч и не может до него дотянуться. Жуткая, вся в пене пасть рвалась к незащитному горлу Филипа...

И вдруг пес взвыл и повалился на пол. Филип оглушенно встал на ноги и увидел у двери одного из баронских гвардейцев.

– Э... – пробормотал гвардеец. – А в собаку-то я и не целил... Я стрелял в тебя!

– Вот спасибо, что ты мазила – точнехонько в тварюгу попал, – отозвался Филип.

– Ну, ежели возьму тебя в полон, тут барон и простит меня, что грохнул его псину, – задумчиво пробормотал гвардеец.

– Вот уж обойдемся без этого, – сказал Филип, подбирая свой меч. Один взмах – и голова незадачливого гвардейца покатилась на пол. Перешагнув бездыханное тело, Филип осторожно выглянул в залу.

«Глупо было бы пытаться выбраться из замка прямо сейчас», – думал Филип. – «Единственное место, где меня не станут искать – это в арсенале».

И, стараясь держаться в тени, медленно начал пробираться к тому месту, где в первый раз наткнулся на барона.

В арсенале Филипа вдруг осенило: почему бы ему не избавиться край от тирании Черного Барона? Штабель бочонков с порохом – что могло лучше подойти для осуществления этого плана? Он быстренько высыпал содержимое одного из бочонков на пол рядом со штабелем, размотал бухту бикфордова шнура и сунул один конец в порох. А другой отволлок по полу подальше и запалил от кресала.

«Очень скоро замок взлетит на воздух», – подумал Филип. – «Пора убираться отсюда и поскорее!»

Подхватив меч, он бросился через залу и вниз по лестнице, которая привела его в маленькую комнатку, из которой не было никакого выхода, если не считать узенького окошка.

Филип совсем было собрался возвращаться и искать другой выход, когда дверь внезапно распахнулась, и в комнатку ворвался барон. Филип бросился к окну, но одного взгляда наружу хватило, чтобы отказаться от мысли прыгать.

Отвесная стена вырастала из моря, и до поверхности воды было никак не меньше шестидесяти футов. Попытка прыгнуть вниз равнялась бы самоубийству. Однако, оглянувшись, Филип увидел, что и здесь его ожидала нелучшая участь. На него надвигался барон, уже занося для удара тяжелый меч. Филип представил себе горящий шнур – много ли его осталось? – и принял решение.

Глава 5: Нырок



Филип сделал выпад, и меч вонзился барону чуть ниже подбородка. Тот повалился на пол, но, падая, успел дернуть за шнур, призывая на помощь своих людей.

Филип метнулся к окну, выбил стекло и головой вперед выбросился наружу. Уже на лету он услышал оглушительный грохот и понял, что замок взорван, и Черный Барон больше не причинит никому вреда. Он летел вниз, вниз...

Очнулся он в своей постели в Ланкашире. Рядом стояли его отец и мать.

– Отличная работа, сынок, – молвил отец. – Мои славные

люди нашли тебя на берегу. Ты пролежал без сознания три дня. А от баронского замка вообще ничего не осталось.

– Когда тебя принесли домой, ты сжимал в руке древний меч, – добавила мать. – Вот этот, – она развернула длинный сверток и протянула Филипу меч Пармагона.

– Это меч не единожды спас мне жизнь в замке, – сказал Филип. – Когда-то давно он принадлежал великому герою.

– Да и сейчас, – с улыбкой произнес отец, – он тоже будет принадлежать герою!

Глоконда с рисунками пятнадцатилетнего Харлана Эллисона

Глава 1: Сафари



Профессор Фрэнсис Локсли стоял перед группой ученых в нью-йоркском музее естественной истории.

– Итак, джентльмены, – произнес он, вытирая вспотевший лоб, – в следующий четверг мы вылетаем в Африку, в бельгийское Конго!

К этой речи пожилого профессора привела цепочка странных открытий. Музей готовил экспозицию, посвященную эволюции змей, однако в процессе подбора экспонатов выяснилось, что один из этапов эволюции совершенно обойден вниманием ученых-специалистов. Указанный этап имел место в период времени где-то между доисторической эпохой и нашей эрой, и обитавший тогда вид змей оставался неизвестен науке.

Насколько могли судить специалисты, змея во многом напоминала гигантского удава из Африки, анаконду. Ученым было известно, что климат в те времена мало отличался от того, какой и сегодня можно найти в отдельных местах земного шара – из чего они заключили, что им, возможно, удастся обнаружить живой экземпляр – ну, или, по крайней мере, образцы сброшенной кожи.

Порывшись в архивах, они обнаружили кое-какие свидетельства существования той самой змеи и даже более-менее внятное ее изображение.

Новому виду дали название "*Glocolius Droclumniness*", но чаще ее называли просто глокондой, из-за очевидного сходства ее с анакондой.

Неделю спустя шестеро ученых-натуралистов сошли с трапа самолета в самом сердце бельгийского Конго и нырнули в непроходимые джунгли, дабы отыскать в них ядовитую шестидесятифутовую глоконду!

Глава 2: Проклятье утопленника

Второй день поисков начинал клониться к вечеру, когда Фиппс, кроткий коротышка-ботаник, заметил, как в кустах шевелится что-то большое и желтое. Побросав свои рюкзаки, возбужденные естествоиспытатели бросились туда и обнаружили желтую в крапинку кожу – в точности такую, какой ее описывали немногие очевидцы существования глоконды.

– Должно быть, она сбросила кожу во время сезонной линьки и уползла, – предположил Райлз, натуралист-серпентолог.

Вдруг Соренсон, который двинулся дальше, не дожидаясь остальных, громко взвизгнул. Натуралисты как один бросились к нему, опасаясь худшего – и не ошиблись, ибо их постигла та же участь. Внезапно их ноги ушли по колено в липкую жижу. Трясина!

– Спасите! – вопили перепуганные натуралисты, но их никто не слышал. Они как-никак пребывали в самом сердце Экваториальной Африки, в самой что ни на есть безлюдной глуши.

В отчаянии оглядываясь по сторонам, медленно погружавшиеся в трясину ученые вдруг увидели еще одну смертельную угрозу: прямо над их головами сидела на ветке огромного дерева большая голодная пантера!

И теперь, даже если бы им удалось выбраться из трясины,

как могли они спастись от пантеры?

Глава 3:

Волшебная повязка



Глубже и глубже погружались в трясину обреченные натуралисты, когда Коби (родом из Техаса) осенило.

Он напряг все свои силы и дотянулся до лианы, свисавшей с дерева над топью.

– Коллега, вы же не выберетесь по ней! – воскликнул профессор Локсли. – Она никак не связана с деревом!

– Щаа увидите, – нараспев, по-техасски, протянул Коби.

И, погружаясь все глубже в трясину, завязал на одном конце лианы петлю, а второй конец привязал к поясу. А потом, когда грязь уже подступила ему под самую грудь, бросил лассо и затянул петлю на горле у злобной кошки. От неожиданности зверь упал с сука в противоположную от Коби сторону. Лиана натянулась и выдернула Коби из трясины! Оказавшись на суше, он снял петлю с мертвой пантеры и, пользуясь этим же лассо, по очереди выдернул из трясины своих спутников.

– Ловко это вы, Коби, – заметил Док, экспедиционный врач. – Где это вы так наловчились?

– Ну, не зря же я родом из Техаса, – улыбнулся здоровяк. Переодевшись и собрав разбросанное снаряжение, ученые двинулись дальше на поиски глоконды.

На следующий день, когда они пробирались по заболоченным джунглям, их вдруг окружила толпа свирепых на вид туземцев. Не тратя времени на разговоры, те крепко-накрепко связали натуралистов и погнали в свою деревню. Там, в деревне, ученым стало ясно, что их ждет. Посередине большой поляны стоял огромный котел, со всех сторон обложенный дровами!

– Людоеды! – шепнул Райлз потрясенным коллегам. – Должно быть, нас приготовят на субботний ужин!

– Это забавно, – отвечал ему Док, – но если кто-то из этих язычников вздумает съесть меня, у него разболится живот.

Пленников вытолкали вперед, и они оказались лицом к

лицу с огромным туземцем в устрашающего вида маске и желтой в крапинку набедренной повязке.

– Гляньте-ка, – заметил Фиппс. – На этом троглодите кожа глоконды!

– Волшебный шкура, – произнес шаман, заметив, что все смотрят на его повязку. – Большой-большой змея! – он мотнул головой в сторону котла и добавил. – Залезать!

Глава 4: **Логово проклятой змеи**



Ученых развязали и силком заставили залезть в наполнен-

ный водою котел. Когда последний из них оказался в воде, один из туземцев принес большой горящий факел и ткнул им в грудь дров. Вода становилась все горячее, а туземцы плясали вокруг котла как безумные.

А потом, стоило шаману в танце неосторожно приблизиться к котлу, как Док схватил его за шею, приставил к горлу нож и приказал отозвать своих дикарей – в общем, дал понять, что его убьют, если он попытается помешать побегу натуралистов.

Без особой на то охоты шаман повторил за ним приказ и замолчал, застыв как каменное изваяние. Каннибалы медленно отступили от котла, позволив путешественникам выбраться из закипающей воды. Собрав свои вещи, те скрылись в джунглях, захватив с собой заложника шамана.

Много часов прошло, много миль осталось позади, когда путешественники, наконец, позволили себе остановиться.

– Откуда твой взять кожа? – спросил Док у шамана на пиджин-инглиш, который тот явно знал.

Туземец замотал головой.

– Большой-большой проклятый змея... Очень плохо... Кусать сильно... Мой пещера не ходить!

– Твой пойти, или мы твой убить! – припугнул его Док и для верности кольнул негодяя острием ножа. Дикарь вскочил на ноги и послушно зашагал в джунгли.

И вот они пересекли болота, низины, холмы и джунгли и оказались перед входом в большую пещеру.

– Лучше уж мой уходить, бвана! – дрожащим голосом произнес шаман.

– Ладно, валяй, только своим не рассказывай, – согласился доктор.

Перепуганный туземец сорвался с места и исчез в джунглях, в переплетении ветвей и лиан.

– Теперь он к нам и на пушечный выстрел не подойдет, – заметил Фиппс. – Слишком боится того, что в этой пещере!

Медленно-медленно, осторожно натуралисты начали спускаться в пещеру, и вдруг на них уставились два глаза, расставленных до ужаса широко друг от друга. Неужели это глоконда?

Глава 5: Выкурить ее!



– Ух ты! – выдохнул Коби. – Ну и глазищи! Да эта малышка с полсотни футов в длину будет, никак не меньше!

– Больше любой другой африканской змеи, – заметил профессор Локсли. – Наверняка это глоконда. Подумать только, мы с вами – люди двадцатого века – вот-вот увидим рептилию, жившую еще тогда, когда о человеке и слыхом не слышали. Потрясающе!

– Но как нам выманить это чудище из пещеры в стальную клетку? – спросил Райлз.

– А я вот чего придумал, – сказал Фиппс. – Давайте-ка поищем, нет ли из пещеры других выходов. Если есть, завалим их камнями и сучьями. Вот прямо сейчас разделимся и

поищем. А когда вернемся, я изложу вам свой план.

Шестеро натуралистов разошлись в разные стороны и через полчаса снова собрались у входа в пещеру.

– Ну что, есть еще места, через которые эта гадина могла бы улизнуть? – спросил Фиппс.

Таких мест натуралисты не обнаружили.

– Ну и хорошо. Раз так, вот что мы сделаем, – объявил Фиппс. – Разведем костер и покидаем горящие поленья в пещеру – пусть подышит дымом. А клетку поставим прямо перед выходом из пещеры, чтобы ей некуда было деться.

Вскоре клетка стояла прямо перед зияющим отверстием, рядом полыхал костер, и в темноту полетело несколько горящих поленьев. Прошло несколько минут, а потом раздалось громкое шипение, и что-то ярко-желтое выметнулось из пещеры и влетело в клетку. Дверца захлопнулась, и шестеро естествоиспытателей впервые увидели глоконду.

Это была огромная рептилия: шестьдесят футов в длину, четыре в ширину, со сморщенной желтой кожей. Из черепа торчали два угрожающего вида рога, а в пасти мелькал раздвоенный язык. Из передней части тела росли короткие ножки с копытцами как у оленя. А у основания головы виднелся кожистый мешок. Это было то самое загадочное существо, за которым охотились натуралисты, – смертоносная глоконда!

Со счастливыми улыбками взвалили натуралисты клетку на плечи и двинулись в обратный путь к побережью. Знали бы они, что ждет их впереди...

Глава 6: Угроза голода

Термометр показывал сто пять градусов по Фаренгейту в тени, но шестерым ученым, тащившим на плечах клетку с шестидесятифутовой змеей, приходилось еще хуже. Вот уже два дня они шли в южном – если верить компасу – направлении. Наконец, когда ноги отказались идти дальше, они опустили на землю клетку, бросили остальное снаряжение и провалились в беспокойный сон.

На рассвете их разбудили крики попугаев в деревьях. Путешественники поднялись и к ужасу своему увидели, что все их съестные припасы исчезли!

– Должно быть, это обезьяны, – предположил Соренсон, высокий биолог.

– Нет, не они, – возразил Док, указывая на клетку с глоккондой. – Гляньте-ка на нашу рогатую подружку!

Шесть пар глаз обратились на клетку, в которой лежала змея, объевшаяся до такой степени, что едва не лопалась. Путешественники оставили провиант слишком близко к клетке, и голодная змея сожрала все!

– И что мы теперь будем есть? – всхлипнул Райлз.

– На одних ягодах и фруктах мы долго не протянем, – подтвердил Фиппс. – Тем более, что их в этой части джунглей немного.

– Придется затянуть пояса, – глубокомысленно заявил

старый профессор Локсли. – Что ж, господа, посидим на голодной диете.

Он подошел к клетке и взялся за деревянную перекладину, держа в другой руке ружье.

– Ну что, идем?

Остальные последовали его примеру, и спустя несколько минут караван натуралистов двинулся дальше – уже без провианта.

Глава 7: Мираж



Восемь дней без еды не прибавляют сил человеку, особенно если при этом приходится тащить на себе тяжелый груз.

Именно с этим пришлось столкнуться профессору Локсли, Доку, Фиппсу, Соренсону, Коби и Райлзу. Вот уже которую неделю они продирались сквозь дикие джунгли – из них последние восемь дней впроголодь.

– Если бы не эта мерзкая змеюка, мы бы сейчас были сыты, – все хныкал Соренсон.

– Что уж тут поделаешь, – утешал его профессор Локсли. –

Мы хотели найти эту змею, теперь мы ее получили. Стоит ли жаловаться на судьбу?

Дальше и дальше продирался изголодавшийся отряд сквозь переплетения лиан и густую листву. И наконец, на десятый день, когда одежда их превратилась в лохмотья, а животы только что не визжали от голода, Док увидел воду.

– Должно быть, это мираж, – выдохнул Фиппс. – Если верить картам, воды здесь быть не может, кроме той, что является морем, а к нему мы так быстро добраться не могли.

– Что ж, – слабым голосом произнес Коби, – пошли в другую сторону.

И они совсем, было, собрались разворачиваться, когда услышали долгий гудок. Бросив клетку, наши натуралисты продрались сквозь последние заросли кустов и увидели то, на что уже почти не надеялись: пароход!

– Должно быть, мы сбились со счета дней, – вскричал Райлз. – Мы вышли к морю!

Спустя полчаса и клетка, и путники оказались на борту парохода, державшего курс на Соединенные Штаты. Люди с комфортом разместились в каютах на верхних палубах, но глубоко в трюме, в крепкой стальной клетке, свернулась самая ценная за последние два столетия находка из мира рептилий:

ГЛОКОНДА!

Еще круче

Джонни Бренмэш остановил мотоцикл у входа в бар и махнул своей шайке, чтобы они следовали его примеру. Он отряхнул джинсы, снял очки-консервы и шагнул через порог.

– А ну, папаша, как насчет кружечки? – спросил он. Потом он потягивал свое пиво, пока остальные байкеры тыкали пальцами в кнопки музыкального автомата, резались в карты или просто бухали.

Джонни окинул бар взглядом: тот ничем не отличался от любого другого. Официантка смерила его оценивающим взглядом. Он отвернулся. Она тоже не отличалась от любой другой obsługi. Все было как всегда. Да и с чего бы сегоднешнему дню отличаться от других?

– Бармен, еще кружку!

И тут он увидел ее. С первого взгляда он понял, что она потрясающая. Возможно, потому, что у нее было три глаза. Да нет, не в этом дело, но Джонни она зацепила.

Она вошла в бар в кожаной куртке с надписью «МОЛЛ» и эмблемой байкерского клуба «Объединенные мотоциклисты Америки». Сказать, что это произвело на Джонни впечатление, значило бы не сказать ничего. Ее джинсы были заляпаны машинным маслом, волосы спутались под шлемом.

Молл стукнула по стойке кулачком и потребовала двой-

ной бурбон.

– Пардон, – буркнул бармен, – в этом заведении дамочек не обслуживают.

– В жопу дамочек! – рявкнула Молл, ухватила бармена за воротник и хлестнула по щекам – раз шесть, не меньше. – Я сказала: двойной бурбон. И живо!

– Да, мэм. Сейчас.

Ухмыляясь и поигрывая мускулами, Джонни подошел к Молл.

– Джонни. Джонни Бренмэш. Потанцуем, крошка?

– Грязные лапы убрал, да? – огрызнулась она и опрокинула стопку в рот.

Джонни тупо уставился на девушку. Все, кто был рядом, смотрели на них. Черт, да это угрожало его репутации! В душу начало закрадываться незнакомое доселе чувство страха, но он не мог не предпринять новой попытки.

– Сказал же, пошли, потанцуем!

Она повернулась, очаровательно улыбнулась ему и врезала левой подвздош. Потом дождалась, пока он сложится пополам, и добавила правой в подбородок. Он начал оседать на пол, а она подхватила его за шиворот и через всю комнату, мимо трех столов и музыкального автомата, выволокла на улицу. Он впечатался мордой в сточную решетку рядом со своим мотоциклом и остался лежать, отсмаркивая кровь и всхлипывая. А потом приподнялся, обнял мотоцикл за переднее колесо и разревелся, как маленький.

Джонни Бренмэш раплакался как младенец.

Сага о Джо-Пулеметчике

На марше Джо всегда шагал в первом ряду: тяжелый ствол разобранного пулемета на плече, ящик с патронной лентой в другой руке.

Джо был всем солдатам солдат. Когда к ним в окоп спрыгнул мокрый от пота майор и скомандовал: «Взять высоту пятьсот шестьдесят один! Вперед!» – кто, как не Джо – Джо-Пулеметчик – первым перевалился за бруствер и бросился по изрытому воронками склону вверх?

Кто, как не Джо, снимал свой пулемет с лафета и, держа его в руках как простой автомат, возглавлял атаку, скашивая врага длинными очередями?

Джо был всем солдатам солдат.

Он шел в атаку со зловещей ухмылкой на губах и огнем в глазах – косоглазые черти даже стрелять в него боялись. Никто в роте не мог сравниться с ним отвагой. Ну, и медалей столько тоже ни у кого больше не было. Любая работа была по плечу Джо-Пулеметчику.

И когда его батальон выдвинулся, чтобы остановить прорыв северных корейцев под Вонджу, он снова шагал впереди, насвистывая какой-то веселый мотивчик, и плевать ему было на Судьбу. Все в роте восхищались Джо, и Джо-Пулеметчик знал это. Но он был парень нормальный и не позволял делать из себя идола.

В паре десятков миль от нефтехранилища они разбились на маленькие группы. Джо и его напарник Карл направились к вершине холма, за которым по данным разведки сосредотачивались перед наступлением косоглазые.

— Карл, — сказал Джо, отстегивая ящик с лентами и опуская на землю ствол. — Собери пока пулемет, а я пойду, посмотрю, что там, впереди.

Карл с ухмылкой отсалютовал ему, потому что так делал и Джо, а потом наблюдал с восхищением за тем, как Джо берет в руки по револьверу 45 калибра, сует в зубы дымящийся бычок и уходит вверх по склону холма, двигаясь в сторону неприятеля.

Джо шел в сторону врага целых три часа. Он значительно отдалился от своих позиций, от Карла с пулеметом, ото всех.

Он перевалил через вершину очередного холма — И УВИДЕЛ ИХ!

Он стоял на вершине Кровавого Хребта, в каждой руке по револьверу, сигарета в зубах, и все три дымятся.

А на него вверх по склону катились с воплями сорок тысяч косоглазых! Джо-смельчак. Парень, отваги которого хватило бы на целый взвод! Он выпустил в наступающих две последних пули, затянул ту же пояс, и бросился прочь со всех ног!

Потому, что был не только отважен, но и УМЕН!

Светлячок

Предисловие

(Это эссе впервые напечатано в 1976 году. Хронологически исправлено и дополнено в июле 2000 года)

Этот рассказ я написал на кухонном столе квартиры Лестера и Эвелин дель Рей в Ред-Бэнк, штат Нью-Джерси, в апреле 1955 года. Из множества рассказов, написанных мною начиная с десятилетнего возраста, это первый, который мне удалось продать. Я получил за него чуть меньше, чем по полтора пенни за слово – то есть, за три тысячи слов мне заплатили целых сорок долларов! Это стало моим первым гонораром. Мне тогда исполнился двадцать один год.

В университете штата Огайо, на кафедре английской литературы в 1954 году работал некий профессор Шедд. Он сообщил мне, что у меня начисто отсутствует талант, что я не умею и никогда не научусь писать, и что мне даже думать не стоит зарабатывать на жизнь писательским ремеслом, и что, если я и смогу каким-то чудом перебиваться с хлеба на воду и даже снимать какую-нибудь собачью конуру, имя мое никоим образом не войдет в историю и будет предано забвению всеми ценителями написанной *по правилам* литературы.

Я послал его в жопу.

В январе пятьдесят пятого меня вышибли из Университета штата Огайо, и я вернулся домой, в Кливленд, привести в порядок мысли и наметить дальнейшие пути. Месяца три я готовил к печати то, что оказалось последним номером моего научно-фантастического фэнзина «Измерения», а потом собрал свои нехитрые пожитки и отчалил в Нью-Йорк, оставив на крыльце плачущую мамочку.

Нью-Йорк пятидесятых был настоящей Меккой для литераторов. Какая-то особая жизненная энергия, первозданная безбашенность как магнитом притягивали к себе всех начинающих писателей. Из уроженцев Огайо сюда понаехали Джеймс Тёрбер, и Рут МакКенни, и Милтон Канифф, и Эрл Уилсон, и Герберт Голд. Огайо – то еще местечко для рождения: самая что ни на есть квинтэссенция Америки, мифическое захолустье, из которого выйдет живительный фермент – Эллисон, брызжащий талантом, наделенный всеми надлежащими среднеамериканскими качествами, весь из себя такой скакучий и прыгучий, готовый поднять упавшее знамя современного романа из пыли, куда Фолкнер, и Стейнбек, и Натанаэл Уэст, и Дос Пассос обронули его, спеша к славе и могиле.

Я приехал в Нью-Йорк, и мне негде было жить.

На первых порах меня приютили Лестер и Эвелин. Вот у них на кухне я и написал «Светлячка». Мне не хватало научного обоснования для невероятного сюжета. Лестер предложил анаэробную бактерию, микроорганизм, способный су-

ществовать без свободного кислорода. Оглядываясь назад, я вижу, что это был один из тех редких случаев, когда я выступил в качестве, отдаленно напоминавшем настоящего «научного» фантаста. На деле я всегда склонялся к фэнтези, хотя сам еще не понимал этого.

На этот рассказ у меня ушло два дня. Потом я отправился в город и попытался продать его. Джон Кэмпбелл из «Удивительного» (теперь он называется «Аналог») отказался его приобрести. Орейс Голд из «Гэлэкси» – тоже. Джеймс Куинн из «Если» – тоже. И Энтони Боучер из «Журнала Фэнтези и Научной Фантастики». От него отказалось еще с полдюжины редакторов процветавших в то время журналов фантастики. Я отложил рассказ в стол.

Затем я переехал к Алгису Будрису, успешному фантасту, проживавшему на Западной 23-ей улице. Вот только он незадолго до этого женился, и для семейного счастья им только меня и не хватало! Поэтому я перебрался на окраину и за десять баксов в неделю снял комнату в доме 611 по Западной 114-ой улице, напротив Колумбийского университета – в том самом старом доме, где жил Роберт Сильверберг. Уж его-то работы покупали без проблем, и завидовал я ему – страшно сказать как.

Я отправился в Бруклин и прибил к банде подростков. Как следствие, мне пришлось раздвоиться и быть то Филом «Чичем» Белдоном, то снова Харланом Эллисоном. Спустя десять недель кто-то упомянул, что один из печатавших вся-

кого рода исповеди журналов, «Лоундаун», мог бы опубликовать мои записи о днях, проведенных с бандой в Ред Хуке. Я отправился поговорить с редактором «Лоундауна». Он сказал мне описать все как есть. Я написал «Я жил с бандой подростков!», и они купили это. Двадцать пять баксов. Они даже сфотографировали меня, чтобы присовокупить мою физиономию к статье. Я решил было, что это мой первый профессиональный гонорар. Я ошибался.

Журнал вышел в августе пятьдесят пятого с заголовком «СЕГОДНЯ – ЮНЦЫ ПОД КАПЮШОНАМИ! ЗАВТРА – КТО?» В статье не нашлось места ни одному написанному мной слову. Фотографию, правда, напечатали: художественный редактор добавил мне шрам на правой щеке. В общем, я все еще оставался ни разу не публиковавшимся автором.

В те дни Ларри Шоу издавал новый журнал под названием «Бесконечность» – журнал научной фантастики с разделом «Фанфары», в котором перепечатывались статьи из фэнзинов.

Он хотел опубликовать рассказ Дина Греннелла, который я напечатал в свое время в «Измерениях». А заодно спросил, не хочу ли я напечатать у него что-нибудь свое. Я достал из стола «Светлячка» и послал ему.

Недели две спустя он позвонил (на стене в коридоре, недалеко от двери моей комнаты в доме номер 611 по Западной 114-ой висел платный телефон) и спросил: «Не хотите ли отобедать со мной?»

Я как раз был ужасно голоден.

Ларри отвел меня в китайский ресторан в нескольких кварталах от меня, на Бродвее, и за яйцами фу-юнь сообщил, что покупает «Светлячка». Сорок долларов. Он протянул мне чек. Я чуть не грохнулся в обморок.

Рассказ вышел в февральском номере «Бесконечности» за 1956 год, который попал на прилавки 27 декабря 1955 года. К этому времени я успел опубликовать пару-тройку других рассказов в журналах, печатающих детективы и фантастику. И все же первым проданным мною рассказом стал именно «Светлячок»!

В тот замечательный, 1955 год – первый, в котором я начал работать как профессиональный писатель, зарабатывая ремеслом, к которому, по словам доктора Шедда, был совершенно не годен – я продал четыре рассказа. На следующий, 1956 год, я их продал уже *сто*. С тех пор я не отвлекался ни на какую другую профессию.

И вот, прошло сорок пять лет. Я написал или издал семьдесят пять книг, больше тысячи семисот журнальных рассказов, статей и эссе. Мое имя значится в справочнике «КТО ЕСТЬ КТО В АМЕРИКЕ». Я получил практически все писательские награды, какие только возможно – в каждом из жанров, в которых пробовал свои силы. Некоторые из них – по несколько раз. За творческие достижения в целом. За лучший американский короткий рассказ (пару лет назад). Премии от изданий «Харперс», «Нью-Йоркер». Сорок пять лет

— успех за успехом.

Мне думается, я заметно прибавил в профессионализме со времени «Светлячка», которого покойный, но глубоко уважаемый мною Джеймс Блиш как-то назвал «Худшим рассказом, когда-либо публиковавшимся в жанре научной фантастики». Я не стыжусь «Светлячка», при всех его синтаксических и стилевых недостатках. Как можно стыдиться своего первенца?

И, хотя ни одного ответа я ни разу не получал, каждый свой напечатанный рассказ я неизменно отправлял доктору Шедду в Университет штата Огайо. Не стоит посылать людей куда подальше, если не уверен, что не окажешься там сам.

Теперь, спустя сорок с лишним лет со дня первого своего появления, «Светлячок» печатается снова. Это всего лишь четвертая его публикация, но при виде гранок я снова вспоминаю тот декабрьский вечер 1955 года, ароматы китайской кухни, хитрую ухмылку дорогого Ларри Шоу, его зажатую в зубах трубку, и тот чек на сорок долларов, который он протянул мне тогда и который изменил всю мою жизнь вплоть до сегодняшнего дня.

У каждого из нас есть персональный бог. Моего зовут Ларри.

Ларри Шоу скончался 1 апреля 1985 года, но не прежде, чем мы с Робертом Сильвербергом вручили ему премию Хьюго в специальной номинации за многолетнюю издательскую деятельность на 42-м Всемирном Конгрессе науч-

ной фантастики в Анахейме, штат Калифорния, 2 сентября 1984 года.

* * *

Солнце уже ушло за выжженный горизонт, и лучи его освещали только верхушки искореженных руин, непристойно торчавших над вершинами холмов, а Селигман продолжал светиться.

Ровное зеленоватое свечение окутывало его тело, стекало с кончиков волос, струилось по коже, освещая ему путь даже в самую темную из всех темных ночей.

Селигман не был склонен к мелодраме, и все же одна короткая фраза частенько крутилась у него в мозгу, а то и срывалась с губ:

– Я урод.

Зеленое свечение появилось пару лет назад, и он в конце концов свыкся с ним. Во многих отношениях оно оказалось даже полезным. Искать пищу без помощи фонарика – дело трудное, почти безнадежное. Селигман не испытывал с этим ни малейших затруднений.

Разрушенные бомбами продуктовые лавки, разбитые витрины с готовностью открывали свое содержимое его зеленому сиянию.

Оно даже помогло ему найти корабль!

После того, как он пересек континент в поисках хотя бы

одного выжившего и вернулся, так никого и не найдя, Селигман шатался по пригородам Ньюарка. В дни, последовавшие за последними бомбежками, ночь, казалось, наступала раньше. Словно какой-то бог огорчился при виде того, во что превратился мир, и торопился скрыть его из вида.

Ньюарк бомбежки почти сравнивали с землей, хотя груда обломков, некогда бывшая Нью-Йорком, все еще возвышалась на горизонте.

Освещая сам себе дорогу, он пробирался по разлинованной в клетку швами бетонных плит поверхности того, что было раньше космопортом. Он забрался сюда в надежде найти уцелевший вертолет или транспортер, и хорошо бы – да, это было бы чудесно – с полным баком горючки. Однако чуда не случилось, и он уже собирался вернуться к шоссе, ведущему в Нью-Йорк, когда где-то в стороне нечто тускло блеснуло. Всего на мгновение, но он успел это заметить. Приглядевшись, Селигман увидел некую коническую форму, чуть темнее окружающей ее тьмы. Разумеется, это был космический корабль.

Селигман пошел к нему из чистого любопытства. Как удалось одному-единственному кораблю избежать катастрофы? И что, если ему посчастливится найти там детали, из которых можно построить вертолет или наземную машину?

Даже изрытая воронками поверхность стартовой площадки не убавила его энтузиазма. Взгляд его ни на миг не отрывался от корабля, а в голове начали роиться мысли, которые

казались фантастическими даже ему.

Корабль принадлежал к одной из последних моделей: крейсер серии «Смит» с модулем боевого управления на острие конической носовой части и зловещими пятнами термозащитного покрытия, за которыми на своих направляющих виднелись орудийные установки.

Корабль явно ремонтировали, когда случилось нападение: во многих местах панели наружной обшивки отсутствовали, и под ними виднелись детали металлического каркаса. Но, как бы невероятно это ни выглядело, корабль казался практически целым! Дюзы на корме не растрескались, камеры хранения ядерного топлива не взорвались. Корпус до сих пор сиял словно лист фольги, и это убеждало Селигмана в том, что и систему управления не закоротило, а значит, она не сгорела. По крайней мере, снаружи корабль выглядел совсем новеньким. Редкая находка, настоящее сокровище.

Селигман несколько раз обошел его, испытывая нечто вроде благоговейного страха. Страх перед этим огромным механизмом, который выдержал все, что две воюющие державы смогли бросить друг против друга, и все так же гордо продолжал целиться носом в звезды, для покорения которых его создали.

Два прошедших с того памятного момента года не убавили впечатления, которое произвел корабль в тот первый вечер. Осторожно пробираясь сквозь обломки, он вспомнил, как увидел отблеск своего свечения на бериллиевой обшив-

ке крейсера.

Он смотрел поверх останков того, что некогда было пригородами Ньюарка, а вдали, освещенный тусклой как оружейная сталь луной, виднелся все тот же корабль. Два года интенсивного чтения сохранившейся литературы, два года копания в обломках застигнутых бомбежкой на земле кораблей показали ему фантастическую невозможность всего этого. Остальные корабли – все до единого – превратились в не подлежащие восстановлению обломки. Отдельные детали разлетелись на полмили, пробив на лету пластиковые стены. Лишь этот забытый крейсер возвышался над останками своих собратьев.

Прошло несколько месяцев с того вечера, когда он обнаружил корабль, прежде чем его посетила эта мысль.

Она могла бы прийти к нему и раньше, но не пришла. Она пришла...

Он сбавил шаг и в очередной раз попытался воспроизвести эту сцену во всех подробностях. Да, это случилось, когда он зашел в штурманскую рубку крейсера. Увидев судно в первый раз, он думал только о том, найдет ли в нем детали для строительства вертолета, но огромные узлы корабля никоим образом не годились для строительства маленького аппарата. Поэтому он ушел с корабля. И зачем все это, если даже взять с него нечего?

Следующие несколько недель, вспоминал он, выдались на редкость неприятными. К привычному уже чувству одино-

чества в принадлежащем теперь лишь ему одному миру добавилась мысль, лежавшая почти на поверхности, – мысль, которую он никак не мог ухватить.

Позже он обнаружил, что его необъяснимо влечет обратно к кораблю. Поднявшись по импровизированной стремянке на ходовой мостик, он огляделся по сторонам, как делал это прежде. Все то же. Толстый слой пыли, большой прямоугольный иллюминатор потемнел от грязи и дождей, на подлокотнике кресла обложкой кверху лежит какая-то инструкция.

Только теперь он заметил дверь в штурманскую рубку. В прошлый раз его поиски были небрежны, ему не терпелось спуститься в машинное отделение, вот он и проглядел эту дверь.

Дверь оказалась приоткрыта; он толкнул ее, и она бесшумно отворилась.

Над клавиатурой перфоратора склонился человек; его иссохший указательный палец все еще касался клавиши табулятора. Как он умер? Этого Селигман не знал. От болевого шока? Может, задохнулся? Нет, вряд ли: на лице незнакомца не было ни малейшего следа от вероятных судорог или посинения.

Селигман нагнулся к бумажке, текст которой человек шифровал для вычислительной машины. На ней значился пункт назначения:

USSS7725, СТАРТ 0500 7/22 КОСМОПОРТ НЬЮАРК,

ЗЕМЛЯ, ПРИБЫТИЕ 0930 11/5 ПРОКСИМА II.

Вот уж не повезло штурману: назначенное время вылета оказалось отложено! На бесконечность.

Выходя из рубки, Селигман еще раз глянул на лицо мертвого штурмана. Оно казалось совершенно безмятежным. Почему-то это не давало Селигману покоя. Почему же он не тревожился? Его что, ничуть не волновал полет в глубоком космосе? Помнится, когда первый звездолет ушел в черную бездну, это казалось потрясающим достижением человечества. Может, позже, когда это стало привычным делом, люди усвоили скучающий тон?

Что ж, теперь от Селигмана зависело, напомним ли он им, что это все еще замечательно.

Тогда он ушел с корабля, но с тех пор много раз возвращался – как, например, сегодня. Он брел, светясь, по мертвой земле к стартовому полю, где ждал его корабль. Теперь он знал, зачем тогда, два года назад, он вернулся. Теперь это казалось совершенно ясным и даже в некотором роде неизбежным.

Если бы он только не был таким... Таким...

Он с трудом мог подобрать слова, чтобы описать самого себя. Если бы только он не изменился...

Что, в общем-то, не вполне соответствовало истине. На Земле не осталось никого, кого он мог бы считать «нормальным» по сравнению с собой. На ней не осталось не только людей, но и любой жизни вообще. Тишину на планете теперь

нарушал только ветер, деликатно протискивавшийся между медленно ветшавшими скелетами мертвого прошлого.

Стоило лишь произнести вслух слово «урод», как его захлестнула волна жалости к себе, волна безнадежности и ненависти.

– Это они виноваты! – кричал он грудам битого кирпича, между которыми пробирался.

На внутреннем экране перед его глазами мелькали, сменяя друг друга, мысли. Он шагал, почти не замечая дороги, ведь он проходил здесь сотни раз.

Люди дотянулись до звезд – но ценой отказа от дома, от родины их предков.

Те, кто жаждал вечности больше, чем маленькой, одинокой планеты, ушли за край, в бездну, из которой нет возврата. На дорогу Туда уходили десятилетия, а путешествие Оттуда вообще исключалось. На них наложило свою печать Время: уходите, если вам надо, но не оглядывайтесь. Мы здесь не будем вас ждать.

И вот они ушли, оставив Землю эгоцентричным варварам-мачо, подавляющему большинству недостойного человечества. Они оставили за собой ядовитую вуаль Венеры, безводные пустыни Марса, ледяные просторы Плутона, выжженную Солнцем кору Меркурия. В Солнечной системе не осталось больше землян. За исключением, конечно, населения самой Земли. Которое слишком увлеклось швырянием всяких смертоносных шуток друг в друга, чтобы думать

о звездах.

Люди, не знавшие иных решений, остались здесь и сражались. Это были те, кто породил аттил, чингиз-ханов, гитлеров. Те, кто нажимал на кнопки и запускал ракеты, гонявшиеся по небу друг за другом, падавшие подбитыми птицами на землю, взрываясь, выжигая, перелопачивая поверхность планеты. Но были и маленькие люди, которые не смогли сопротивляться этому, не смогли избежать участия в этом, равно как не смогли смотреть в ночное небо.

Вот такие люди и уничтожили Землю.

И не осталось никого. Ни одного человека. Только Селигман. А он светился.

– Это все они виноваты! – снова крикнул он. Звук его голоса утонул в ночной тишине.

Память вернула его ко дням, предшествующим концу того, что, несомненно, стало Последней Войной, потому что не осталось никого, чтобы сражаться. Она вернула его в стерильно-белые палаты, забитые научной аппаратурой, капельницами, кудахчущими учеными, хлопотавшими вокруг него и его группы.

Они должны были стать последней надеждой. Новая порода неуязвимых солдат, способных выжить в пекле атомного взрыва, без заметных последствий для организма переносить радиацию, идти в атаку там, где не справились бы обычные люди.

Селигман пробирался сквозь развалины, и его аура бро-

сала блики на искореженный металл и пластик бывшей стоянки жилых трейлеров. Он задержался на долгую секунду, взглядываясь в оплавленные останки изгороди, с которой свешивался на единственном проржавевшем болте плакат:

КОСМОПОРТ НЬЮПОРТА. ВХОД СТРОГО ПО ПРОПУСКАМ!

Его босые ноги шлепали по рваному металлу, острые зазубрины которого хищно целились в его плоть, но прорвать кожу не могли. Еще одно достижение стерильно-белых палат и разноцветных жидкостей, впрыснутых в его тело.

Двадцать три молодых человека, двадцать три добровольца, здоровых, насколько это было возможно в военное время. Их привезли в секретную лабораторию в Солт-Лейк-Сити. В огромное, зловещее здание без окон и с одной-единственной дверью, которую охраняли день и ночь. Да уж, безопасность тут была на высоком уровне. Никто не знал, что за изыскания проводятся за толстенными бетонными стенами. Никто, даже те, над чьими телами проводились эксперименты.

Вот благодаря этим экспериментам Селигман и находился сейчас здесь, в полном одиночестве. Благодаря близоруким человечкам, говорившим с забавным иностранным акцентом, которые брали пробы кожи с его ягодиц и плеч, благодаря пытливым бактериологам и пронирыливым эндокринологом, эпидемиологам и гематологам – благодаря им всем он остался жив там, где больше не выжил никто.

Селигман провел рукой по лбу. Почему он остался жив?

Было ли в его теле что-то особенное, что помогло пережить последствия атомных бомбардировок? Или он обязан этим какой-то особой комбинации проделанных над ним экспериментов — над ним и только над ним, потому что никто из остальных двадцати двух мужчин не выжил. Или это результат радиации? Увы... Возможно, изучай он медицину, смог бы подобраться поближе к ответу на эти вопросы. Но обычному пехотинцу они были определенно не по зубам.

Имело значение лишь то, что, когда он очнулся, наполовину заваленный обломками секретной лаборатории в Солт-Лейк-Сити, он был жив и мог видеть. Он мог видеть и смотрел до тех пор, пока слезы не затуманили вид его собственного, болезненно-зеленого свечения.

Он жил. Пожалуй, это лучшее, что можно было бы сказать обо всем этом. Он жил, не более того. В минуты вроде этой, когда его мерцающее свечение бросало блики на обращенные в пепел останки его прошлого, всех, кого он знал и кем дорожил, он начинал сомневаться в том, что ему повезло больше, чем другим.

Безумие ему не грозило. Потрясение, которое он испытал, осознав, что окончательно и бесповоротно остался один, что никогда больше не услышит ничьего голоса, не ощутит ничего прикосновения, пересилило другое, в чем-то менее болезненное потрясение от его трансформации.

Он жил — и по грубоватым солдафонским меркам Селигмана он стал тем самым, о ком рассказывали анекдоты: По-

следним Человеком На Земле. Только теперь это был совсем не анекдот.

Да и месяцы после того, как на планете осела последняя пелена поднятой взрывами пыли, никак не походили на шутку. Все это время ему пришлось скитаться по стране в поисках той небольшой пищи, что не тронула радиация (хотя он так и не смог определить, почему ему стоит опасаться радиации – скорее, только по привычке) и бактерии. Он прошел весь континент из конца в конец в поисках хотя бы одного человека, чтобы не мучиться от одиночества.

Но, конечно же, никого не нашел.

В Филадельфии, протискиваясь в магазин сквозь разбитую витрину, он обнаружил еще одно произошедшее в нем изменение.

Острый осколок стекла вспорол рубаху, но кожа осталась неповрежденной. Несколько секунд на коже еще белел след царапины, а потом исчез и он. Селигман поэкспериментировал над собой – сначала осторожно, потом отбросив всякие опасения – и обнаружил, что радиация, или эксперименты в лаборатории, или и то, и другое, вместе взятое, а, может, что-то совсем другое совершили с его телом настоящее чудо. О мелких травмах он мог забыть совсем, воздействие огня, если, конечно, это был не армейский огнемет, тоже его не беспокоило. Острые кромки предметов причиняли его коже не больше вреда, чем закаленной стали. Работа не оставляла на его руках ни намека на мозоли. В некотором смысле он

мог считать себя неуязвимым.

Суперчеловек, которого создали слишком поздно. Слишком поздно, чтобы этому порадовались близорукие мясники, колдовавшие над его телом. Впрочем, доведись им каким-то образом выжить, они вряд ли сумели бы понять, что с ним произошло. Слишком все это походило на результат цепочки случайных совпадений.

Однако, легче ему от этого не было. Одиночество оказалось жуткой штукой: всепоглощающей – сильнее ненависти, требовательной – сильнее материнской любви, движущей – сильнее амбиций. Возможно, оно даже могло бы отправить человека к звездам. Селигман подытожил все это нехитрой фразой: «Хуже, чем сейчас, все равно не будет – так что, черт подери, почему бы и нет?»

Впрочем, это ничего не меняло. Ну, почти ничего. Вне зависимости от побудительной причины он знал, что, когда его поиски завершатся, он непременно улетит к ним, где бы они ни находились. Он должен им рассказать! Посланник смерти летит к своим сородичам, покинувшим Землю. Вряд ли они сильно расстроятся, но все равно он должен им рассказать.

Должен найти их и рассказать.

– Ваши отцы умерли, – скажет он. – Вашего дома больше нет. Они поставили последнюю пядь земли на кон в самой опасной из игр и проиграли. Все мертво.

Он угрюмо улыбнулся при мысли о том, что ему не нужно нести им свет. Они заметят меня издалека, по моему соб-

ственному свечению. Свети, светлячок, свети...

Селигман пробрался сквозь бетонные обломки и сплетение ржавой арматуры того, что некогда было легким ажурным сооружением из стекла, металла и железобетона. Даже зная, что он здесь один, Селигман чуть помешкал и оглянулся через плечо, ощутив на себе чей-то взгляд. Это ощущение посетило его далеко не в первый раз, и он даже знал, что это такое. Это была Смерть, прочно утвердившаяся на опустошенной ею земле, и тень ее накрывала весь этот скорбный мир. Единственный свет исходил теперь от одинокого человечка, который брел к ракете, что перевернутой сосулькой маячила в центре стартового поля.

Пальцы его начинали шевелиться при мысли о занявшей два года работе над этой колонной из бериллия. Бесчисленные походы на свалки ракетного хлама, окружавшие космопорт, демонтаж нужных деталей с других кораблей, поиски других деталей в разбомбленных складах, постоянное подстегивание себя – работай, работай – даже когда усталое тело требовало отдыха. Зато теперь ракета готова к полету.

Селигман не мог похвастать ни научным складом ума, ни познаниями в механике. Однако одержимость, справочники по ракетным двигателям, да еще чудо, сохранившее корабль почти неповрежденным, дали ему возможность покинуть этот мертвый мир.

По скобам на поверхности корпуса он поднялся к открытому люку-ревизии. Путь он находил легко, безо всякого

фонаря. Пальцы его в последний раз пробежали по жгутам проводки, проверяя и перепроверяя то, что, как он знал и без всяких проверок, было исправно и защищено от помех – насколько может быть защищено от помех детище новичка-непрофессионала. Что ж, если он погибнет, виноваты только его кривые руки.

Теперь, когда ему осталось проверить готовность систем из ходовой рубки, да еще загрузить провизию на время полета, он вдруг обнаружил, что боится улететь сильнее, чем оставаться здесь в одиночестве до самой смерти, а когда это случится, он со своими новыми возможностями не имел ни малейшего представления.

Как они примут создание, столь перестроенное, как он: наполовину живой фонарь, наполовину лабораторное напоявание о мире, из которого они прилетели и от которого бежали в космос? Что они почувствуют: страх, недоверие, брезгливость?

«Уж не увиливаю ли я?» – Эта мысль, внезапно возникнув в мозгу, заставила его пару раз ошибиться при проверке.

Не оттягивает ли он дату старта сознательно? Используя для этого проверки, перепроверки и любые другие поводы, лишь бы отсрочить момент невозврата? От этих мыслей у него заболела голова.

А потом он одернул себя, сказав, что проверки совершенно необходимы: это утверждает любой из справочников, валявшихся на полу моторного отделения.

Руки его чуть дрожали, и все же порыв, подгонявший его на протяжении последних двух лет, заставил его довести все проверки до конца. Когда рассвет забрезжил над рваным силуэтом того, что некогда было Нью-Йорком, Селигман закончил все работы.

И не прерываясь, понимая, что должен спешить – не на перегонки со временем, но прочь от раздиравших его сомнений, от прорвавшихся, наконец, на поверхность страхов – он спустился по скобам вниз и принялся загружать провизию. Он аккуратно сложил ее рядом с лифтом, который смог-таки починить; приводился тот в движение, правда, ручным воротом. Штабели ящиков с концентратами и баллоны жидкостей, найденные с таким трудом, производили изрядное впечатление.

– Главная проблема – еда, – сказал он себе. – Если я пройду точку невозврата, а еда закончится, шансы мои будут равны нулю. Ясное дело, я еще не готов лететь. Я ведь и так подсознательно знал это. Даже не обладая точной информацией, мой мозг все вычислил! Я еще не могу лететь. Нужно подождать, пока я не найду еще пару-тройку складов с сохранившимися припасами.

Он прикинул время, необходимое на такие поиски, и сообразил, что на это уйдет несколько месяцев, возможно даже целый год! Да при условии, что подходящие склады обнаружатся не слишком далеко от космопорта.

И вообще, искать еду в городе после того, как он стащил

все доступные припасы к ракете, стало заметно труднее. Более того, он вдруг сообразил, что не ел со вчерашнего дня.

Вчерашнего?

Он так погрузился в последние приготовления, что совершенно забыл о еде. Что ж, такое с ним случалось и раньше, даже до взрыва. Не без усилия он попробовал вспомнить, когда же ел в последний раз. И вспомнил. А вспомнив, послал к черту все отсрочки, в необходимости которых так старался себя убедить. Он не ел три недели!

Разумеется Селигман знал это. Но это знание спряталось так глубоко, что он позволил себе его игнорировать. Он пытался отрицать очевидное, потому что с устранением этой, как будто бы неразрешимой проблемы, помешать старту мог только его собственный страх.

Зато теперь этот факт открылся ему во всей своей наготы. Операции, медикаменты и радиация не только сделали его устойчивым к внешним раздражителям – ему больше не нужно питаться! Осознание этого на миг ошеломило его – в первую очередь тем, как же он раньше-то не догадался.

Ему приходилось слышать об анаэробной дрожжевой бактерии, способной получать энергию из других источников, минуя обычный процесс окисления органики. Сопоставление невозможного с чем-то более-менее знакомым помогло ему принять это. Как знать, может ему удастся поглощать энергию напрямую? По крайней мере, он не испытывал ни малейшего голода – даже после трех недель изнурительной

физической работы без... без... без внешней подпитки. Он ухмыльнулся этому определению.

Возможно, ему все же стоило захватить определенный запас протеинов для восстановления тканей тела. Однако без всех этих штабелей ящиков, громоздившихся вокруг корабля, он легко мог обойтись.

Теперь, когда откладывать вылет его не заставляло ничего, кроме страха самого путешествия, ничто не мешало стартовать прямо сейчас, и Селигмана вновь охватило прежнее возбуждение.

Ему просто не терпелось оторвать корабль от земли.

Когда Селигман закончил погрузку, сгущались сумерки. На этот раз он не тянул с отлетом. Просто погрузка действительно заняла целый день. Зато теперь он готов. Здесь, на Земле, его больше ничего не удерживало.

Он в последний раз огляделся по сторонам. Это стоило сделать. Селигман не отличался особой сентиментальностью, но все же бросил последний – для галочки – взгляд, на тот случай, если его спросят: «Ну, и на что же она там теперь похожа?» Не без сожаления – небольшого, но все же – подумал Селигман о том, что за те два года, на протяжении которых он готовился покинуть этот стерильный мир, он так и не удосужился *по-настоящему* посмотреть на него. Жить в гряде обломков он привык уже давно, так что довольно скоро вообще перестал обращать внимание на окружающий его мир.

По скобам он поднялся к люку, ступил на борт и старательно задраил люк за собой. Потом опустился в кресло пилота и подвинул панель управления на гибких шарнирах так, чтобы она находилась на уровне его лица.

Он щелкнул замком пристяжных ремней и сидел теперь в корабле, которому даже не удосужился придумать названия, нащупывая пальцами кнопку зажигания на подлокотнике, освещаая своим зеленоватым ореолом полутемную рубку.

Вот какую последнюю картину унесет он с собой к небесам: горькую эпитафию погибшей зазря цивилизации. Он не подавал никаких предупредительных сигналов – за отсутствием тех, кого следовало бы предупредить. Все погибли, не оставив на поверхности Земли даже призраков. Ни травинки, ни мотылька ни в пыльном небе, ни – насколько он мог судить – даже на дне Марианской впадины. Только тишина. Кладбищенская тишина.

Он нажал на кнопку.

Корабль, содрогаясь, начал подъем. Это нисколько не напоминало то величественное ощущение, которое запомнилось ему по стартам других кораблей. Корабль шипел и кашлял, понемногу набирая скорость на явно разлаженных двигателях. Рубку отчаянно трясло, и Селигман понимал, что это какая-то необнаруженная им неисправность передается вибрацией через палубу и кресло в его тело.

И пламя из дюз не походило на то, что он наблюдал при других стартах: не такое яркое и ровное. И все же корабль

продолжал ускоряться и набирать высоту. По мере того, как ракета поднималась все выше в пыльное небо, раскаленная наружная обшивка начала светиться.

Ускорение вдавливало Селигмана в кресло, но не с такой силой, как он ожидал. Это доставляло скорее неудобство, но не боль. Потом он вспомнил, что не во всем похож на тех, кто летал до него.

Корабль продолжал рваться прочь из земной атмосферы. Корпус окрасился оранжевым, сменил цвет на вишневый, потом раскалился почти добела: системы охлаждения под обшивкой работали на полную мощность, сдерживая бушующий жар.

Но с каждой секундой подъема Селигман все сильнее ощущал, что что-то идет не так. Что-то назревало, и это ему не нравилось, совсем не нравилось.

Он понял в чем дело, только когда переборки справа от него начали прогибаться, и с них начали слетать панели облицовки. Ведь готовила корабль к полету не бригада квалифицированных техников, вооруженных самыми совершенными инструментами – это делал на свой страх и риск одиночка с чисто книжными познаниями, да и то разрозненными. Что ж, теперь допущенные им ошибки его же и убьют.

Корабль вырвался из атмосферы, и Селигман в ужасе смотрел на то, как срываются и улетают в черную бездну листы наружной обшивки. Он попытался вскрикнуть, но и воздуха в его легких для этого не осталось.

А потом он потерял сознание.

Когда корабль проходил мимо Луны, Селигман продолжал сидеть, пристегнутый ремнями к противоперегрузочно-му креслу, в рубке, в которую через зияющие отверстия заглядывал открытый космос.

Резко стихли стартовые двигатели. И словно по сигналу веки Селигмана дрогнули, затрепетали и разомкнулись.

Он окинул взглядом рубку, наполненную космическим вакуумом, и его проснувшийся мозг открыл ему еще одну последнюю истину. Он вконец утратил все то, что было в нем человеческого. Ему больше не нужен воздух.

Горло сдавливало спазмом, в желудке царила неприятная пустота, а кровь, которой полагалось бы закипеть в венах, бешено пульсировала в висках. Он лишился последнего родства с теми, кто жил теперь где-то далеко, у самых звезд. И если раньше он считал себя просто уродом, кем он стал теперь? Чудовищем?

Теперь он – не просто посланник. Он стал светящимся символом конца земного человечества, символом всего зла, которое сотворило оно на своей планете. Беглецы в другие миры не примут его, не будут слагать о нем легенды. Но и отказаться от него они не смогут. Он ведь посланник из могилы – к таким поневоле прислушаешься.

Они увидят его еще на подлете – сидящего в лишенной воздуха рубке. Жить с ним они не смогут, но слушать его будут, и поверят. Что ж, это какая-никакая, но цель. Хоть

какой-то смысл продолжать что? Жить.

Селигман развалился в противоперегрузочном кресле, в рубке, освещенной только зловещим зеленоватым свечением, которое сделалось теперь такой важной его частью. Он сидел в ней один – человек, обреченный на вечное одиночество. И постепенно на губах его заиграла угрюмая улыбка.

Если человечество с самого своего рождения жаждало путей общения, то он, несомненно, сделался самым совершенным его творением: он сам – послание. Увидеть – значит, поверить, а поверить – значит, понять. Правда, не всегда происходит так, но все же.

Заложенная в него горькая цель сделалась, наконец, кристально ясна. Два последних года он надрывался ради того, чтобы сбежать от смерти и одиночества на разрушенной Земле. Оказывается, невозможно и это. Одного Селигмана более чем достаточно.

Одного? До сих пор он и близко не представлял себе, что означает это слово! Теперь его работой станет предпринимать любые усилия для того, чтобы он остался такой *один*. Навсегда один – среди людей. Послание, написанное светящимися буквами.

До скончания времен.

Аварийная капсула

Терренс осторожно прижал правую руку – ту, которую робот не видел – к боку. Пронзительная боль в трех сломанных ребрах заставила его на мгновение округлить глаза, но почти сразу же он взял себя в руки и продолжал наблюдать за машиной сквозь узкие щелочки прикрытых век.

«Стоит мне моргнуть – и я покойник», – думал Терренс.

Мурлыканье механизмов аварийной капсулы напомнило ему о том положении, в котором он оказался. Взгляд Терренса то и дело возвращался к аптечке, висевшей на стене рядом с зарядной нишей робота.

«Вот ведь засада. С таким же успехом аптечка могла висеть за много миль отсюда. Хоть на самой базе на Антаресе», – подумал он, подавив смешок. Он в очередной раз спохватился лишь в самый последний момент. Спокойствие! Трое суток – это, конечно, кошмар, но любой срыв только приблизит конец, а это никак не входило в его планы. Однако и продолжаться так дальше тоже не могло.

Он пошевелил пальцами правой руки. Это было единственное доступное ему сейчас движение. Он отчаянно материл про себя техника, выпустившего робота с конвейера. И политика, допустившего использование в аварийных капсулах некачественных роботов, лишь бы заполучить выгодный правительственный контракт. И ремонтника, не прове-

рившего эту железяку как следует. И всех идиотов, вместе взятых, – чтоб им до конца жизни икалось!

Они это заслужили.

Он умирал.

Смерть подобралась к нему еще до того, как он забрался в аварийную капсулу. Терренс начал умирать, стоило ему вступить в бой.

Он позволил глазам закрыться, позволил шуму механизмов капсулы стихнуть. Медленно-медленно, но журчание охлаждающей жидкости в трубопроводах под наружной обшивкой, чириканье процессоров, переваривающих информацию со всех концов галактики, поскрипывание антенны, вращающейся на своем узле в верхней части спасательного пузыря – все это в конце концов стихло. Он решил по возможности чаще отключаться на протяжении этих трех суток от реальности. Собственно, ему оставалось либо это, либо не сводить глаз со стерегущего его робота, – и тогда, рано или поздно, ему пришлось бы пошевелиться. А движение означало смерть. Все проще простого.

Он отключил слух от мурлыканья систем; он слушал голоса в самом себе.

– Боже праведный! Да их тут миллион, не меньше!

Этот голос в наушниках принадлежал командиру эскадрильи Резнику.

– В каком порядке они атакуют? – слышался другой голос. Терренс осторожно покосился на экран радара, сплошь

усеянный мерцающими точками кайбенских кораблей.

— У этих похожих на поганки судов? Да хрен разберешь! — отозвался Резник. — Только помните, вся передняя, похожая на шляпку, часть сплошь утыкана орудиями, и дальность стрельбы у них чертовски большая. Ладно, ребята, держи ухо востро — и задайте им перцу!

И их флотилия устремила на армаду кайбенцев.

В голове его все еще звучал шум боя в черноте космоса. Ясное дело, все это ему мерещилось: в бездонно-черной могиле не бывает звуков. И все же он явственно слышал шипение своего бластера, посылавшего разряд за разрядом в борт флагмана кайбенского флота.

Его истребитель шел почти на острие атакующего клина земных кораблей, врезавшегося в боевое построение вражеских кораблей. Вот тут-то все и случилось.

Только что он направлялся в самое пекло сражения, раскавив своими разрядами докрасна левый борт кайбенского линкора, а уже в следующую секунду вывалился из строя, сбавлявшего ход для боевого разворота — и оказался на встречном курсе — лоб в лоб с похожим на поганку кайбенским крейсером.

Первый разряд вражеских пушек снес его орудийные установки, расположенную в носовой части систему ориентации, и прочертил на зеркальной поверхности борта глубокую, закопченную борозду от носа до кормы. От второго разряда он сумел увернуться.

Он связался с командиром эскадрильи. Инструкции были краткими: по возможности возвращаться своим ходом на базу; если возможности не представится, спасатели будут ждать его сигнала из спасательной капсулы на том планетоиде, который он выберет для аварийной посадки.

Что он и сделал. На карте эта каменная глыба значилась как 1-333, 2-A, M&S, 3-804.39#, и смысла в этой белиберде было немного: маленький значок # означал, что где-то на поверхности планетоида с этими координатами находится аварийная капсула.

Его нежелание выходить из боя, да еще разыскивать планетоид с аварийной капсулой уступало только страху остаться без горючего прежде, чем он успеет сориентироваться. Или улететь, лишившись хода, в бездонный космос, чтобы когда-нибудь превратиться в искусственный спутник какого-нибудь безымянного солнца.

Корабль, практически лишенный тормозной тяги, шмякнулся на поверхность блинчиком, дважды подпрыгнул, с десятков раз перевернулся, разбрасывая по поверхности обломки кормовой секции, но в конце концов остановился всего в паре миль от капсулы, угнездившейся в скальных утесах.

Терренс большими скачками – сила притяжения на планетоиде почти не ощущалась – одолел две оставшихся до убежища мили. Ему хотелось одного: послать аварийный сигнал, чтобы его могли запеленговать возвращавшиеся из боя корабли.

Он ввалился в шлюзовую камеру, нащупал сквозь толстую ткань перчатки своего скафандра выключатель и, дождавшись пока камеру со свистом заполнит воздух, с наслаждением снял шлем.

Потом стянул перчатки, отворил внутренний люк и вошел в капсулу.

«Господь да благословит тебя, славная маленькая капсула», – подумал Терренс, отшвыривая в сторону шлем и перчатки.

Он огляделся по сторонам, заметил мерцание шкалы блока связи, принимающего внешние сообщения, сортировавшего их и пересылавшего дальше. Он увидел аптечку на стене, холодильник, который наверняка полон под завязку, если только предыдущий обитатель не отчалил до прибытия автоматического грузовика с припасами. Он увидел многоцелевого робота, неподвижно застывшего в зарядной нише. И настенные часы с разбитым табло. Он запечатлел все это одним взглядом.

«Господь да благословит также тех джентльменов, которым пришло в голову разбросать по космосу такие крошечные убежища», – устало подумал он и двинулся через помещение к блоку связи.

Именно в это мгновение робот, поддерживавший капсулу в рабочем состоянии и разгружавший грузовики, с лязгом выкатился из своей ниши и с размаху ударил Терренса в бок своей стальной лапищей. Удар швырнул его через всю ком-

нату.

Терренс влетел в стальную переборку, больно ударившись о нее спиной, боком, руками и ногами. Этот удар стоил ему трех сломанных ребер. С минуту он лежал не в состоянии пошевелиться. Он даже вздохнуть не мог от боли, и это, похоже, спасло ему жизнь. Боль обездвижила его, и за это время робот, негромко лязгая стальными шестернями, убрался обратно в нишу.

Он сделал попытку сесть, и робот отозвался на это злоеющим гудением и начал выезжать из ниши. Терренс застыл. Робот вполз обратно.

Две последовавшие за тем попытки убедили Терренса, что положение его аховое.

Где-то в электронном мозгу робота что-то замкнуло, то ли стерев, то ли повредив его рабочие программы, так что теперь те приказывали ему атаковать все, что движется.

Он ведь видел часы!

«Мог бы и догадаться при виде разбитого табло», – запоздало подумал он.

Ну разумеется! Цифры двигались, сменяя друг друга, и робот разбил часы своей клешней. Терренс двигался, робот ударил его.

И вновь нанесет удар, стоит ему пошевелиться.

Если не считать чуть заметного движения глаз под веками, он не шевелился три дня.

Он подумал, не подползти ли ему к шлюзовой камере, за-

стывая, когда робот выдвигался, дожидаясь, пока тот вернется обратно, и подползая еще на пару дюймов к люку. Однако от этой идеи пришлось отказаться после первого же движения. Слишком болели сломанные ребра. Просто жуть как болели. Он застыл в неудобном, скособооченном положении и останется в нем, пока эта патовая ситуация не разрешится так или иначе.

Сознание вдруг толчком вернулось к нему. Воспоминания последних трех дней резко вернули Терренса к реальности.

От панели связи его отделяло каких-то двенадцать футов. Двенадцать футов – и аварийный маяк, способный привести к нему спасателей. Прежде чем он умрет от ран, прежде чем он сдохнет от голода, прежде чем его добьет этот чертов робот. С таким же успехом это могло быть двенадцать световых лет – все равно не добраться.

Что, черт подери, случилось с этой железякой? Чего-чего, а времени на размышления у него хватало. Робот мог засечь движение, но думать ему не запрещал. Вряд ли это могло ему помочь, но хоть что-то...

Все оборудование капсулы поставлялось компаниями на контракте у правительства. Где-то кто-то припаял провод со слишком тонкой жилой или использовал грязный припой, или вообще сунул в работа дешевый блок, не рассчитанный на такие нагрузки. Где-то кто-то протестировал работа спустя рукава. Где-то кто-то совершил убийство.

Он снова открыл глаза. Точнее, чуть приоткрыл. Ровно

настолько, чтобы робот не заметил движения век. Это было бы катастрофой.

Он посмотрел на машину.

Строго говоря, это был вовсе не робот. Это была дистанционно управляемая стальная штукавина, совершенно незаменимая для того, чтобы стелить кровати, складировать стальные панели, наблюдать за культурами в чашках Петри, разгружать звездолеты и пылесосить ковры. Корпус робота, отдаленно напоминавший человеческую фигуру, только без головы, на деле представлял собой придаток к расположенному где-то блоку управления.

Настоящий мозг, сложный набор печатных схем, находился за обшивкой стены. Слишком опасно вставлять хрупкую электронику в механизм, предназначенный для грубых работ. Мало ли чего: вдруг робот провалится в загрузочную шахту, или в него угодит метеорит, или придавит поврежденным звездолетом... Поэтому из всех хрупких устройств у робота остались лишь датчики, позволяющие «видеть» и «слышать» и передававшие это расположенному за стеной мозгу.

Вот только в мозгу что-то закоротило, и он сошел с ума. Не так, как сходит с ума человек: способов сойти с ума у машины нет числа. Сошел с ума ровно настолько, чтобы убить Терренса.

Даже если в робота кинуть чем-нибудь, это его не остановит. Даже если при этом у робота что-нибудь разобьется. Мозг ведь останется невредим, и его придаток продолжит

действовать. Нет, безнадежно.

Он смотрел на массивные, суставчатые руки робота. Ему казалось, на стальных пальцах одной руки видны следы крови. Он понимал, что это, скорее всего, игра его воображения, но и отделаться от этой мысли не мог. Он пошевелил пальцами скрытой от глаз робота руки.

Три дня голодания заметно ослабили его. Голова, в которой царила необычайная легкость, шла кругом. Он лежал в собственных нечистотах, но давно уже не обращал внимания на такую мелочь. Бок сводило болью, пронзавшей его с каждым вздохом.

Хорошо еще, что он не успел снять скафандр, иначе движения его груди при дыхании давно бы уже привлекли к себе внимание робота. Нет, выход был только один – смерть. Он почти бредил.

Несколько раз на протяжении последнего дня – насколько он мог отличать день от ночи без помощи часов или солнечного света – он слышал за стенами капсулы рев садящихся кораблей. Потом до него дошло, что в вакууме космоса звуки не распространяются. Потом он решил, что эти звуки доходят до него через блок связи. Потом сообразил, что такое тоже невозможно. Потом пришел в себя и понял, что все, что с ним случилось, должно быть, галлюцинация.

Потом он очнулся и понял, что все это происходит на самом деле. Он попал в западню, и выхода не было. Что его не ждет ничего кроме смерти. Что он умрет.

Терренс не был трусом, и героем тоже не был. Он был одним из тех, кто сражается, потому что надо же кому-то сражаться. Из тех, кто позволил, чтобы его оторвали от жены и дома и послали в бездну, называемую космосом, защищать то, что, как ему сказали, надо защищать. Но случаются мгновения вроде этого, когда люди вроде Терренса начинают думать своей головой: «Почему я здесь? Почему вот так? Что такого я сделал, чтобы окончить жизнь в вонючем скафандре на всеми позабытом куске камня – не в лучах славы, как принято писать в газетах там, дома, а от голода или кровотечения наедине с безумным роботом? Почему я? Почему один?»

Он знал, что ответов не будет. Он и не ожидал ответов. Поэтому не испытывал разочарования.

Проснувшись, он инстинктивно взглянул на часы. Разбитое табло смотрело на него в упор, и глаза его широко открылись от страха: он еще не до конца проснулся. Робот зажужжал и заискрился. Он смотрел на робота, не моргая. Жужжание стихло. Глаза начали жечь. Он понимал, что не сможет держать их открытыми слишком долго.

Жжение, начавшись где-то в глубине глаз, быстро распространилось на веки – словно кто-то колол уголки глаз острыми иглами. По щекам потекли слезы.

Глаза закрылись. В ушах стоял рев. Робот не издал ни звука.

Может, он вышел из строя? Может, он не способен больше

двигаться? Рискнуть..?

Он попробовал принять более удобную позу. Стоило ему пошевелиться, как робот ринулся из ниши к нему. Он застыл, не закончив движения; сердце словно льдом сковало. Робот в замешательстве остановился в каком-то десяти-двух дюймов от его вытянутой ноги. Машина негромко гудела, причем звук этот исходил от самой машины и откуда-то из-за стены.

Он вдруг наострил слух.

Работай робот как положено, он не издавал бы почти никаких звуков – ни рабочий придасток, ни мозг. Но что-то разладилось, и звук, издаваемый им при попытках думать, был слышен совершенно отчетливо.

Робот откатился назад, не сводя взгляда своих «глаз» с Терренса. Датчики у машины располагались на торсе, отчего она походила на приземистую стальную гаргулью.

Жужжание становилось все громче, время от времени перебиваясь резким треском электрических разрядов. На мгновение Терренса охватил ужас при мысли о коротком замыкании: вот сейчас в капсуле начнется пожар, а служебного робота, чтобы гасить его, нет...

Он взял себя в руки и принялся прислушиваться в попытках найти то место за стеной, где располагался мозг робота.

Ему показалось, что он обнаружил источник жужжания. Да? Он находился за переборкой или рядом с холодильником, или над блоком связи. Два наиболее вероятных места –

на расстоянии всего нескольких футов друг от друга, но ему нужно было знать наверняка.

Стальные панели перегородки чуть искажали звук, который к тому же мешался с жужжанием самого робота, и все это мешало определить точное место.

Он сделал глубокий вдох.

Ребра сдвинулись на долю дюйма, и сломанные концы их терлись друг о друга.

Он застонал.

Сам стон стих почти мгновенно, но боль продолжала пульсировать у него в голове, во всем теле. Рот его непроизвольно приоткрылся, и он прикусил язык в попытке сдержаться. Робот выкатился из ниши. Он закрыл рот, с трудом сдержав готовый вырваться крик...

Робот остановился, постоял и попятился обратно в зарядную нишу.

Господи! Боль! Господи, где же ты... БОЛЬНО!

Тело мгновенно покрылось потом. Он стекал в скафандр, пропитывал майку, свитер. К боли в ребрах вдруг добавился чудовищный зуд.

Он пытался ерзать в скафандре – чуть-чуть, чтобы этого не было заметно извне. Зуд не стихал. Чем сильнее он пытался унять его, чем меньше пытался думать о нем, тем хуже он становился. Подмышки, руки на сгибе локтей, бедра, облепленные противоперегрузочным костюмом, показавшимся вдруг невозможно тесным – все они буквально сводили

его с ума. Ему совершенно необходимо было почесаться!

Он почти решился сделать это, но вовремя спохватился. Он понимал, что ему не прожить достаточно долго, чтобы испытать облегчение. Он с трудом сдерживал истерический смех.

«Боже праведный, а я еще смеялся над бедолагами, страдающими от зуда седьмого года, над теми, кто начинал ерзать, стоя по стойке «смирно» во время инспекции, над теми, кто мог чесаться с блаженным вздохом. Господи, как же я им завидую!» – эти мысли показались дикими даже ему самому.

Кожу продолжало колоть иголками. Он чуть поерзал: стало хуже. Он сделал еще один глубокий вдох. По ребрам снова провели грубым наждаком. На этот раз, к счастью, он потерял сознание от боли.

– Ну, Терренс, и как вам показались кайбенцы?

Эрни Терренс наморщил лоб и провел пальцем по виску. Потом посмотрел на командера и пожал плечами.

– Фантастические создания, разве нет?

– Почему это фантастические? – удивился командер Фоули.

– Да потому, что почти не отличаются от нас. Ну, конечно, если не обращать внимание на желтый цвет кожи и пальцы-щупальцы. А во всем остальном они вылитые люди.

Командер выудил из серебряного портсигара сигарету и предложил другую лейтенанту. Потом прикурил, прикрыв один глаз от дыма.

– А я больше скажу: мне страшно. Их внутренности... словно кто-то вынул их, смешал с запчастями десятка других рас и запихал обратно. Помяните мои слова: следующие двадцать лет мы будем голову ломать над тем, как устроен их метаболизм.

Терренс хмыкнул, механически катая незажженную сигарету в пальцах.

– Если бы только двадцать.

– А вот это да, – согласился командер. – Следующую тысячу лет мы будем пытаться понять, как они думают, почему они воюют, во что нам обойдется мир с ними, и вообще, что ими движет.

«Если они вообще позволят нам дожить до этого», – подумал Терренс.

– Почему мы воюем с Кайбеном? – спросил он вслух. – Нет, правда?

– Потому что кайбенцы хотят убить каждого, в ком распознают человека.

– Чем же мы так им не нравимся?

– А какая разница? Может, тем, что у нас кожа не ярко-желтая, может, потому что у нас пальцы не во все стороны гнутся, может, наши города для них слишком шумные. Да что угодно! Но это ничего не меняет. Тут уж так: или мы, или они.

Терренс кивнул. Это он понимал. И кайбенец тоже. Кайбенец ухмыльнулся, потянул из кобуры свой бластер и вы-

стрелил почти в упор. Вспышка разряда окрасила борт кайбенского корабля в багровый цвет.

Он свернул, чтобы не напороться на разрыв собственных снарядов. В глазах на мгновение потемнело от перегрузки, и он зажмурился.

Когда он открыл глаза, он стоял на самом краю пропасти. Он покачнулся и, стиснув зубы от напряжения, пытался сохранить равновесие. Напрягая все силы, он все же смог сделать глоток воздуха. Пальцы его – нет, не пальцы, *щупальца* – с металлическим лязгом тянулись к аптечке на переборке.

С зубодробительным лязгом робот бросился на него. Налетевший из ниоткуда сквозняк подхватывал и уносил прочь отлетавшие от него куски металла. Чертова машина занесла свинцовый башмак, целясь ему в лицо.

Ближе, ближе надвигалась подошва, пока не заполнила весь мир, и тогда...

Вспыхнул свет. Яркий, ярче любой звезды, что Терренс успел повидать. Свет клубился, переливался, искрил, сооткался в светящийся шар, и шар этот ударил робота в железную грудь. Тот пошатнулся, отступил на шаг...

Робот зашипел, загудел и взорвался, расшвыряв миллион мелких обломков, падавших в бездну, на краю которой снова стоял Терренс, теряя равновесие. Он отчаянно размахивал руками в попытке удержаться, и все равно заваливался вперед...

Он вздрогнул и очнулся.

Его спас обморок. Даже в бреду он, оказывается, продолжал контролировать себя. Он не стонал и не бился в припадке. Он продолжал лежать неподвижно, не издавая ни звука.

Он знал это наверняка, потому что до сих пор был жив.

Вот только произвольный рывок в момент, когда он приходил в себя, заставил металлическое чудище выехать из своей ниши. Он окончательно очнулся и сидел неподвижно, привалившись к стене. Робот вернулся на место.

Он едва дышал, не открывая рта. Еще мгновение – и всем мучениям последних трех дней пришел бы конец. Трех дней или больше? Сколько он провалялся без сознания?

Его терзал голод. Бог свидетель, как же терзал его голод! Боль в боку сделалась сильнее: теперь даже малейший вдох причинял ему страдания. Все тело продолжало чесаться. Он сидел в неудобной позе, привалившись плечом к стальной переборке, и каждая ее заклепка, казалось, глубоко впиалась в его кожу. Ему хотелось одного: умереть.

Да нет, не хотелось. Исполнить это желание было бы проще простого.

Если бы только он мог вывести из строя мозг робота... Увы, несбыточная мечта. Если бы только он мог повесить Фобос и Деймос вместо брелков себе на часы... Если бы только он мог перепихнуться с накачанной силиконом красоткой из Пинареса... Если бы только он мог соорудить аркан из своей толстой кишки...

Требовалось почти полностью разрушить мозг, чтобы

остановить робота прежде, чем тот докатится до Терренса и ударит его еще раз.

И – с учетом отделявшей его от мозга стальной обшивки – шансы сделать это измерялись, пожалуй, отрицательной величиной.

Он прикинул, по какому месту ударит его робот в следующий раз. В любом случае одного удара этой стальной клешни хватит, чтобы убить его наверняка. В нынешнем его состоянии покончить с ним мог даже один глубокий вдох.

Допустим, он успеет добраться до люка в шлюзовую камеру и проскочить туда...

Бесполезно. А) робот перехватит его прежде, чем он успеет подняться на ноги – в его нынешнем-то состоянии. Б) Даже если он каким-то чудом успеет проскочить в люк, робот запросто откачает из шлюза весь воздух. В) Даже если допустить, что чудо свершится дважды, и робот этого не сделает, это все равно не поможет ему ничем: его шлем и перчатки лежат внутри капсулы, да и куда денешься на этом планетоиде? Корабль разбит в хлам, рация тоже, так что сигнала он послать не сможет.

Ближайшее будущее предстало перед ним во всей своей неприглядной красе.

Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался в том, что скоро покинет этот свет.

Покинет этот свет.

Этот свет...

Свет...

СВЕТ???

Господи, неужели такое возможно? Нет, правда? Неужели он нашел решение? Он поражался тому, как все просто. Все три – или сколько там – дня решение только и ждало, чтобы он до него додумался. *Восхитительно простое решение*. Он с трудом удержался, чтобы не пошевелиться – на сей раз от радости.

Я не особо умен и тем более не гений – как же я смог додуматься до такого? Несколько минут он не мог ни о чем больше думать – только поражаться гениальности этого решения. Интересно, додумался бы до такого кто-то глупее него? А кто-то умнее? Потом он вспомнил сон. Тот свет во сне. Это не он решил проблему, за него это сделало его подсознание. Решение все время было здесь, под боком – в буквальном смысле этого слова *под боком*. Даже слишком близко, чтобы он увидел его. Пришлось его разуму изобре-сти подсказку. К счастью, удалось.

В конце концов неважно, как он дошел до него. Может, это его бог (если он, конечно, имел к этому какое-то отношение), наконец, услышал его. Терренс не отличался особой религиозностью, но этого чуда хватило бы, чтобы обратить его в веру. Все еще не кончилось, но решение было у него под рукой – хорошее решение.

Он приступил к своему спасению.

Медленно, мучительно медленно он пошевелил правой

рукой, той, которую робот не видел, и ощупал ею свой пояс. В кармашках на поясе висели предметы, которые могут пригодиться космонавту в полете. Отвертка. Пакетик тонизирующих драже. Компас. Счетчик Гейгера. Фонарик.

Чудо, а не фонарик. Этакий расчудесный цилиндр.

Он почти благоговейно ощупал его, потом осторожно отстегнул клапан и вынул его из кармашка. «Глазам» работа он продолжал казаться неподвижным.

Потом чуть отодвинул руку с фонариком от себя, чтобы луч не упирался в его облаченную в скафандр ногу.

Если робот смотрел на него, он не видел ничего, кроме этой неподвижной ноги. Так что для дурацкого механизма он оставался неодушевленным предметом.

«Ну», – лихорадочно думал он. – «Где же все-таки этот чертов мозг?» Если за блоком связи, я все равно что труп. Если рядом с холодильником, я спасен.

Он не мог позволить себе ошибки. Придется пошевелиться.

Он приподнял другую ногу.

Робот двинулся к нему. На этот раз гудение и треск сделались громче. Он опустил ногу.

За обшивкой над холодильником!

Робот остановился, не доехав считанных дюймов. Все решали секунды. Робот зажужжал, заискрился и вернулся к себе в нишу.

Теперь он знал!

Он надавил на кнопку. Невидимый луч света уперся в переборку над холодильником. Он нажимал кнопку снова и снова, кружок света появлялся над холодильником, исчезал, появлялся, исчезал и появлялся снова.

Робот брызнул снопом искр и выкатился из ниши. Он посмотрел на Терренса, а потом развернулся на своих роликах и покатился к холодильнику.

Стальная клешня описала дугу и с оглушительным лязгом ударила в переборку в точке, где вспыхивал и гас яркий кружок.

Он бил снова и снова. Снова и снова, пока переборка не поддалась, листы обшивки не погнулись и не отлетели в сторону, а за ними – пластины печатных плат и модули памяти, и так до тех пор, пока робот не застыл с занесенной для удара лапищей. Мертвый. Неподвижный. Лишенный мозга придаток.

Даже тогда Терренс не перестал жать на кнопку. Словно в беспамятстве он продолжал нажимать и отпускать ее.

Потом до него дошло, что все кончено.

Робот мертв. Он жив. Его спасут. Уж в этом он не сомневался. Теперь он мог поплакать в свое удовольствие.

Аптечка словно сделалась ближе, придвинулась в преломлении его слез. Огоньки на пульте связи улыбались ему.

«Господь да благословит тебя, маленькая капсула», – успел подумать Терренс, прежде чем потерять сознание.

Только стоячие места

Барт Честер шел по Бродвею, когда из черного ничего со-
ткалась эта хреновина.

Он как раз пытался уломать Элоизу, вешая ей на уши лап-
шу, типа: «Нет, Христом богом клянусь, Элоиза, я всего-то
предлагаю завалиться ко мне и всего один разочек – чест-
но, всего разок – а потом пойдем в театр...» При этом он
прекрасно знал, что никакого театра им не светит, в первую
очередь по причине того, что и денег-то у него на сегодня
не было ни гроша. Впрочем Элоиза этого не знала. Славная
девочка эта Элоиза, и Барт не хотел избаловать ее раньше
времени.

Барт ломал голову над тем, как бы получше отвлечь мыс-
ли Элоизы от театра и направить их в более приземленном
направлении, когда началось гудение.

Словно тысяча генераторов, вращающихся на предельной
мощности, – этот звук сотрясал каменные стены, в которых
замыкался Таймс-сквер, гулял эхом туда, сюда и обратно и
быстро перекрыл уличный шум Бродвея, заставив людей за-
дирать головы вверх в поисках его источника.

Барт Честер тоже задрал голову, уставился на небо и од-
ним из первых увидел, как *оно*, мерцая, возникает в прозрач-
ной голубизне. Воздух, казалось, сгущается и начинает ко-
лыхаться словно далекое марево. Потом воздух растекся, как

вода. Трудно сказать, мерещилось ему это, или все происходило на самом деле, но воздух *тек, как вода*.

Хитрый огонек в глазах Барта Честера померк, и ему так и не удалось добиться хотя бы «одного разочка» от Элоизы. Он сам отвернулся от ее желанных прелестей, сообразив, осознав, ощутив, что оказался в нужное время в нужном месте. Должно быть, примерно так же подумали довольно многие, потому как люди на тротуарах замедляли шаг, вглядываясь в чуть темнеющее вечернее небо.

Прибытие свершилось быстро. Воздух дрогнул еще раз, и в нем начала сгущаться некая масса, словно возникал из тумана призрак. Масса имела форму сильно вытянутого цилиндра, от которого исходило сияние и выстреливали протуберанцы энергетических сгустков. Она материализовалась над Таймс-сквер.

Барт сделал три быстрых шага к краю тротуара, шаря взглядом по сиянию неоновых огней в попытке получше разглядеть эту странную структуру. Его толкали, и вокруг него начала собираться небольшая толпа, словно он стал катализатором какой-то химической реакции.

Хреновина (а Барт Честер занимался шоу-бизнесом достаточно долго, чтобы отучиться лепить ярлыки с избыточной поспешностью) висела, не опираясь ни на что, и как будто чего-то ждала. Она зависла в вертикальном положении чуть выше самого высокого из выстроившихся вдоль улицы зданий – странный цилиндр длиной больше девятисот

футов, расположившийся прямо над пешеходным островком, отделявшим Бродвей от Седьмой авеню. Вдоль длинного трубчатого корпуса бегали веселые разноцветные огоньки.

На глазах у Барта совершенно цельная поверхность хреновины вдруг разошлась, и из нее высунулась пластина, сплошь испещренная мелкими отверстиями, а еще через пару секунд в этих отверстиях прямо из воздуха соткались металлические трубочки, которые начали оживленно извиваться.

Газетные байки последних лет вкупе с естественным любопытством быстро навели Честера на верную догадку.

«Боже ж мой», – подумал он, – «они берут пробы воздуха!» Каким-то образом он знал, что не ошибается: «Они выясняют, смогут ли обитать здесь!» – И, стоило ему сказать это про себя, как его осенило еще одной догадкой: это же космический корабль! Эта... эта хреновина прилетела с другой планеты! С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ?

Прошло много месяцев с тех пор, как приказал долго жить «Цирк братьев Эмерли», в который Барт вложил всю свою наличность. Прошло много месяцев с тех пор, как Барт платил за квартиру, и ненамного меньше времени прошло с тех пор, как он мог позволять себе полноценное трехразовое питание. Он отчаянно искал, за что бы зацепиться. За что угодно!

Должно быть, инстинкт антрепренера жил у него в крови с рождения, потому что тут его и осенило:

«Боже праведный, – возбужденно подумал он, – что за аттракцион из этого получится!»

Комиссионные. Шарики с надписью «Сувенир с космического корабля». Попкорн, соленый арахис, батончики! Жвачка! Хот-доги, яблоки в карамели; вот так пруха! Супер, а не пруха!!!

«Если только я возьмусь за это *первым*», – добавил он про себя, щелкнув в уме пальцами.

Он почти не замечал отчаянно жестикулировавшего полисмена, звонившего из полицейской будки. Почти не слышал визгов и возгласов собравшейся толпы, продолжавшей наблюдать за странными эволюциями металлических трубочек. Барт с боем прорывался сквозь толпу.

Откуда-то сзади донесся писк Элоизы, окликавшей его по имени.

– Прости, детка, – крикнул он в ответ, не оглядываясь; локоть его при этом вонзился в диафрагму какой-то толстухи. – Я слишком долго голодал, чтобы упустить такой лакомый кусок!

– Пардон, мэм. Звиняй, Мак. Простите, мне... оп!.. мне очень срочно! Спасибо, Мак, – и он оказался у входа в аптеку. Он задержался на мгновение, чтобы поправить галстук и подбодрить себя коротким наставлением: – Уииииииииииииии! Ну, крошка Барт Честер, не подкачай! На кону лимон баксов! Вперед, сэр!

Он порылся в кармане в поисках мелочи, втиснулся в те-

лефонную будку и долго ждал междугородного соединения с миссис Чарльз Честер в Уилмингтоне, штат Делавэр. На другом конце провода раздавались гудки, потом, наконец, слышался голос его матери.

– А... Алё?

Он только успел выпалить: «Привет, ма!» – как его перебил голос оператора:

– Вы готовы оплатить разговор, миссис Честер?

Только когда она подтвердила, что да, готова, он смог перейти к делу.

– Привет, ма! Ты как?

– Ой, Барт, как приятно, что ты вдруг позвонил. Давненько тебя не слышала! Только открытки, да и тех...

– Да знаю, ма, знаю, – перебил он ее. – Закрутился совсем. Нью-Йорк понимаешь... Слышь, ма, мне денег надо.

– Ну... сколько, Барт? Я могла бы...

– Пару сотен, ма. Тут такое, черт возьми, наклевывается – самая, мать ее, крутая сделка, какие я толь...

– Барт! Что за язык! И при родной матери!

– Извини, ма, извини, но тут такое дело, у меня аж скулы сводит. Вот чтоб мне... – он вовремя спохватился. – Бог свидетель! Ма, тут такое, у меня такого ни разу еще не было. Верну через пару месяцев. Ма, ну пожа-а-алуйста! Я ж тебя ни разу еще о таком не просил!..

Следующие несколько минут ушли на препирательства, завершившиеся обещанием миссис Чарльз Честер сходить

в банк и снять там последнюю пару сотен. Барт благодарил ее всеми возможными словами, но слушать оператора с напоминаниями о необходимости оплатить разговор не стал, а сразу набрал другой номер.

– Алё, Эрби? Это Барт. Слушай. У меня тут на мази одно дельце – никаких сомнений, самое... Постой, постой, Эрбии! Бога ради, погоди секундочку... Это самое грандиозное из всего, что...

Пять минут и пятьсот долларов спустя:

– Сэнди, детка? Кто? А ты думала кто? Это Барт, Барт Чес... Эй, не вешай трубку! Это шанс! Твой шанс заработать лимон! Лимон чистоганом! Так вот, что мне нужно: хочу занять у тебя...

Пятнадцать минут, шесть телефонных звонков и четыре тысячи пятьсот двадцать долларов спустя Барт Честер вынырнул из аптеки – как раз вовремя, чтобы увидеть, как пластина с металлическими щупальцами втянулась обратно, а его обшивку снова сделалась гладкой, без единого шва.

Элоиза, конечно же, ушла. Впрочем, Барт этого даже не заметил.

Толпы зевак к этому времени выплеснулись с тротуаров на проезжую часть, перекрыв движение; стоять под самой этой хреновиной, правда, не осмелился никто. Водители вылезали из своих машин и забирались на капоты, чтобы лучше видеть.

Каким-то образом сквозь пробку протолкались пожарные

машины. Бравые пожарники в защитных комбинезонах стояли, прикусив губу и озадаченно качая головой. *Я должен пробиться туда – пробиться, пока это не сделал кто-то из других промоутеров!* Перед глазами у Барта Честера маячили видения столов, ломящихся от яств.

Пока он проталкивался сквозь толпу обратно, вокруг места, над которым зависла хреновина, выстроилось полицейское оцепление. Дородный коп в очках стоял рядом с тщедушным, изможденного вида типом в форме, и Честер пробился к ним.

– Извини, приятель, туда нельзя. Мы как раз всех оттуда выводим, – сообщил коп в очках, глянув на него через плечо.

– Послушайте, шеф, мне туда позарез надо, – коп отрицательно мотнул головой, и Честер взорвался. – Слушайте, я – Барт Честер! Ну, помните: «Звездная кавалькада» в пятьдесят четвертом, цирк братьев Эверли – все это я продюсировал! Мне просто необходимо туда! – он продолжал распинаясь, но слова его, судя по всему, не произвели должного впечатления.

– Послушайте, вы должны... эй, инспектор! Эй! – он отчаянно замахал руками, и невысокий тип в пальто из драпа, направлявшийся к машине, повернулся в его сторону.

Стараясь не наступать на раскатанные по мостовой провода, он подошел к ним.

– Послушайте, – заявил Честер копам. – Мы с инспектором Кессельманом приятели. Инспектор, – взмолился он. –

Мне нужно туда. Это чертовски важно. Пахнет контрактом!

Кессельман совсем уже было собрался мотнуть головой, но, прищурившись, пригляделся к Честеру, вспомнил контрамарки на бокс и неохотно кивнул.

– Ладно, идем, – буркнул он. – Только на рожон не лезь.

Честер поднырнул под сцепленные руки полисменов и следом за коротышкой пошел к темному пятну тени от хреновины.

– Ну и как дела в шоу-бизнесе, Честер? – поинтересовался инспектор, не сбавляя шага.

Барту вдруг показалось, что голова его сделалась невесомой и вот-вот сорвется с плеч. Ему очень не хотелось отвечать на этот вопрос.

– Так себе, – признался он.

– Выкроишь вечерок – заходи, пообедаем, – предложил инспектор тоном, подразумевающим отказ Честера от приглашения.

– Спасибо, – вежливо отозвался Барт, обходя по кромке тень хреновины. – Это космический корабль? – добавил он с искренним детским любопытством. Кессельман повернулся и как-то странно посмотрел на него.

– Откуда, черт подери, ты такого вздора набрался? – поинтересовался он.

Честер подал плечами.

– Ну, из комиксов, наверное, – он криво улыбнулся.

– Псих, – Кессельман сердито тряхнул головой и отвер-

нулся.

Два часа спустя, когда последний пожарник спустился с последней лестницы, сокрушенно покачал головой и сообщил, что их ацетиленовые горелки даже следа на обшивке не оставили, Кессельман продолжал раздраженно смотреть на Честера.

– Псих, – в очередной раз повторил он.

Еще через час, стопудово убедившись в том, что обшивку невозможно оцарапать и очередь из крупнокалиберного пулемета, он выглядел заметно менее уверенным, но приглашать ученых, как предложил ему Честер, наотрез отказался.

– Да чтоб тебя, Честер, это мои заботы, не твои, а теперь закрой варежку, если не хочешь, чтобы я приказал вывести тебя за оцепление! – он выразительно посмотрел в сторону толпы, с трудом сдерживаемой цепочкой полицейских. Честер покорился; впрочем, он не сомневался в том, что рано или поздно им придется сделать все, как он предложил.

На самом деле прошло еще почти два часа (точнее говоря, час пятьдесят минут), прежде чем Кессельман в отчаянии развел руками и сдался:

– О'кей, тащите сюда своих чертовых экспертов, только поживее. Эта штука с минуты на минуту может опуститься.

– Или, – саркастически добавил он, глядя на ухмыляющегося Барта Честера, – если в этой штуке сидят монстры, то с минуты на минуту они могут начать нас пожирать.

Это был космический корабль. Ну, в любом случае, он

прилетел откуда-то из других миров.

Слегка побледневшие эксперты некоторое время с умным видом шептались друг с другом; один из них, похрабрее прочих, даже вскарабкался вверх по пожарной лестнице и с умным видом постучал по обшивке, после чего они пришли к согласию.

– По нашему общему мнению, – объявил ученый с тремя клочками седых волос на блестящей лысине, – этот аппарат... я достаточно ясно говорю, господа из прессы? Этот аппарат внеземного происхождения. Однако установить, – он назидательно поднял палец вверх, в то время как остальные согласно закивали, – космический ли это корабль, или же – принимая в расчет характер его появления здесь – устройство для мгновенного перемещения в пространстве, я пока не могу.

– Однако, – завершил он свое выступление, потирая руки, – этот аппарат, вне всякого сомнения, внеземного происхождения. Вне-зем-но-го, – повторил он, и репортеры наперегонки бросились к ближайшим телефонным будкам.

Честер схватил Кессельмана за рукав.

– Скажите, инспектор, кто обладает... скажем так, правами на эту хреновину? Ну, там, может продавать билеты и все такое?

Кессельман смотрел на него как на умалишенного. Честер раскрыл рот, чтобы сказать что-то еще, но слова его заглушили крики и визги в толпе. Он поспешно посмотрел вверх.

Обшивка космического корабля снова раздвигалась.

К этому времени зеваками оказались забиты уже все прилегающие улицы, и на каждом лице читался страх, смешанный с любопытством. Собственно, это лишний раз продемонстрировало стоящую перед жителями Нью-Йорка вечную дилемму: бедолаги разрывались между безумным желанием поглазеть и страхом перед неизвестностью.

Честер и коротышка-инспектор, сами того не замечая, пятились от корабля осторожными шажками, не сводя глаз с висящей над ними махины.

«Только бы не монстры», – почти молился про себя Честер. – «А то моему талону на улучшенное питание кранты, как пить дать, кранты...»

Корабль не двигался с места; его положение в пространстве не изменилось ни на дюйм. Но из отверстия в обшивке выдвинулась платформа. Совершенно прозрачная платформа, такая чистая, такая тонкая, что казалась почти невидимой. Примерно в шестистах футах от нижней оконечности корабля, между двумя ребристыми выступами, вспухшими на поверхности обшивки, платформа парила над Таймсквер.

– Взять эту штуковину на прицел! – рывкнул Кессельман своим подчиненным. – Занять позиции в тех домах! – он ткнул пальцем в небоскребы, между которыми завис корабль.

Честер продолжал зачарованно смотреть на корабль, и тут

платформа, судя по всему, выдвинулась на всю длину и застыла. А потом послышался звук. Прямо у него в мозгу – *беззвучный* и тем не менее абсолютно *отчетливый*. Барт даже склонил голову набок, прислушиваясь. Впрочем и полисмены, и зеваки делали то же самое. Что за чертовщина?

Звук нарастал, заполняя его целиком – от пяток и до кончиков волос. Он распирал его изнутри, даже в глазах помутнело. Барт зажмурился, а когда открыл глаза, весь мир превратился в мешанину ярких огней и мерцающих теней. Взгляд быстро прояснился, но он понимал, что это всего лишь увертюра. Еще он точно знал – совершенно непонятно откуда – что звук исходит от корабля. Он снова поднял взгляд к платформе, и как раз в этот момент над ней начали складываться линии.

Он не смог бы описать их словами, но знал лишь одно: они прекрасны. Линии висели в воздухе, окрашенные в цвета, о существовании которых он даже не догадывался. Они напоминали земные транспаранты, они перекрещивались в нескольких направлениях, они казались земному глазу абсолютно чужими и в то же время завораживающе привлекательными. Он не мог отвести взгляда от их ежесекундно меняющегося рисунка.

А потом краски начали растекаться. Цветные линии таяли, теряли форму, смешивались друг с другом, и вскоре от них не осталось ничего, кроме разноцветных потеков на обшивке корабля.

– Ч-что... что это? – услышал он слабеющий голос Кес-сельмана.

Прежде, чем он успел ответить, ОНИ вышли.

Эти существа вышли на платформу и несколько секунд стояли молча. Внешность они имели самую разную, но Честер откуда-то знал, что *под ней* они похожи друг на друга – словно нацепили маскарадные костюмы. За те секунды, что они неподвижно стояли на платформе, Честер узнал, как зовут каждого. Того, с алым мехом, что стоял слева, звали Вессилио. Типа, у которого из мест, где полагалось бы находиться глазам, росли какие-то стебельки, звали Давалье. У остальных тоже имелись имена, и – странное дело – Честер словно бы знал каждого из них уже давно. При всей своей чужеродности они совершенно не отталкивали его – скорее наоборот. Он знал, что Вессилио, например, решителен, настойчив и не дрогнет, исполняя свой долг. Он знал, что Давалье не отличается сильным характером и частенько плачет в подушку. Он знал это и многое другое. Он знал все обо всех.

И при этом все они были, без сомнения, чудовищами. Ростом не ниже сорока футов. Руки – в тех случаях, когда они, конечно, имелись – казались складными и пропорциональными по отношению к телам. То же относилось и к ногам, головам, торсам. Однако руки, ноги и торсы имелись далеко не у всех. Один так вообще напоминал слизняка. Другой казался ослепительно-ярким шаром. Третий менял очертания

прямо на глазах у Честера, время от времени задерживаясь на секунду в какой-то совершенно ни с чем не сравнимой форме.

Потом они задвигались.

Они кружились и раскачивались. Честер смотрел как за мороженный. Они были великолепны! Их движения, их жесты, их взаимоотношения очаровывали. Более того, все это имело сюжет. Захватывающий, трогательный сюжет!

Полосы двигались, краски мелькали. Одна за другой менялись картины, наполненные движениями пришельцев.

Честер смотрел, не в силах оторвать взгляда от потрясающего действия. Все это было таким чужим, таким непривычным и в то же время таким притягательным, что он понимал: стоит ему упустить хоть одно мгновение представления, и он потеряет нить повествования.

А потом снова прозвучали беззвучные ноты, краски померкли, пришельцы ушли, а платформа скользнула обратно, и корабль снова сделался тихим и безликим. Честер вдруг обнаружил, что пытается отдышаться. Представление было в буквальном смысле этого слова захватывающим дух!

Он покосился на огромный циферблат на Таймс-билдинг. Три часа пролетели как одно мгновение.

Восторженный ропот толпы, странные аплодисменты представлению, которое вряд ли кто понял до конца, пальцы Кессельмана, стиснувшие его руку – все это доходило до него как бы издалека.

– Господи милосердный, как чудесно! – потрясенно шептал Кессельман. Даже сейчас до него еще не дошло.

Но он-то знал – знал точно так же, как все остальное – знал, что это за корабль, кто эти пришельцы, и что они делают на Земле.

– Это спектакль, – услышал он свой собственный, полный благоговения голос. – Они актеры!

Они были восхитительны, и Нью-Йорк понял это чуть раньше остальных. Стоило остальному миру узнать об этой новости, как отели и магазины захлестнул невиданный доселе поток туристов. Город заполонили приезжие со всех концов Земли, жаждущие своими глазами увидеть чудесное представление.

Представление было все тем же: пришельцы выходили на свою платформу – точнее говоря, на сцену – каждый вечер ровно в восемь вечера. И заканчивали спектакль около одиннадцати.

На протяжении трех часов они двигались и жестикулировали, наполняя сердца благодарных зрителей смесью ужаса, любви и напряжения так, как не удавалось ни одной другой театральной труппе.

Театрам на Таймс-сквер пришлось отменить свои вечерние спектакли. Многие шоу закрылись, другим пришлось ограничиться утренниками и молиться, чтобы зрители ходили хотя бы на них. Представление продолжалось.

Это было совершенно непостижимо. Каждый зритель по-

нимал смысл происходящего на сцене, хотя каждый видел это немного по-другому. И этому не мешало то, что актеры не произносили ни слова, да и привычных зрителям жестов тоже никто не делал.

Это... ошеломляло. Как можно смотреть одно и то же снова и снова, не уставая от этого? И возвращаться, чтобы увидеть это еще раз? Непостижимо, но прекрасно. Нью-Йорк полюбил представление всем сердцем.

Через три недели охранявшие корабль армейские части отозвали, перебросив их в Миннесоту для усмирения тюремного бунта. Тем более, что корабль не предпринимал никаких действий – ничего, кроме ежевечернего представления. Через пять недель Барт Честер выправил все необходимые бумаги, обегал все необходимые кабинеты и молился, чтобы все не пошло псу под хвост как в случае с цирком братьев Эмерли. Он все еще перебивался без обедов, жалуясь всякому встречному на то, как невероятно рискует, но вот теперь...

Через семь недель Барт Честер начал делать свой первый миллион.

За само представление никто, разумеется, не платил. Да и с чего платить, если можно бесплатно смотреть его, стоя на улице? Однако никто не отменял пресловутый «человеческий фактор», и тут таилось поистине золотое дно.

Всегда находились такие снобы, кому не хотелось толпиться на сточной решетке вместе с прочим людом, а хоте-

лось сидеть в мягком кресле, в театральной ложе, вывешенной за окно небоскреба (и – для верности – застрахованной у Ллойда).

Всегда находились те, кто считал, что без попкорна и миндаля в шоколаде и театр не театр. Всегда находились и те, кто считал, что спектакль без программки – так, дешевое зрелище.

Барт Честер, животик которого к этому времени начал слегка выпирать над поясом нового темно-серого костюма, позаботился обо всем!

В верхней строке на обложке программки значилось: «Барт Честер представляет Вашему вниманию». А ниже – простой заголовок: СПЕКТАКЛЬ. Прокатился даже слушок, что Барт Честер – это новый Сол Юрок, человек, к которому всем нам стоит прислушиваться!

За первые восемь месяцев «Спектакля» он вернул все долги, вложенные в оформление документов и кое-какие строительные работы. Начиная с этого момента пошла потоком чистая прибыль. Буфеты и сувенирную торговлю он сдал в аренду за пятьдесят процентов с выручки людям, обслуживавшим спортивные матчи и боксерские поединки.

Спектакль шел без выходных, пользуясь неизменным успехом.

«ИНОПЛАНЕТЯНЕ В ФЕЕРИЧЕСКОМ ПЛЮШЕВОМ РЕВЮ!» – писал «Вэрайети».

«...Представление на Таймс-сквер в годовщину своей

премьеры столь же свежо и захватывающе, как и в первый вечер, – не отставал от него «Таймс». – Даже всплеск развернутой вокруг него коммерческой деятельности не способен омрачить превосходства...»

Барт Честер подсчитывал доходы и ухмылялся. Впервые в жизни он начал толстеть.

Две тысячи двести восемьдесят девятый «Спектакль» яркостью и увлекательностью ничуть не уступал первому, сотому или тысячному. Барт Честер развалился в своей ложе, почти забыв о сидевшей рядом ослепительной красотке. Завтра она снова вернется на сцену второразрядного театра на окраине, а вот «Спектакль» не денется никуда, а значит и деньги в его карман будут сыпаться и завтра, и потом.

Большая часть его сознания в зачарованном восторге следила за движениями актеров. Но деятельная частичка его продолжала прикидывать шансы – как всегда.

Восхитительно! Сказочно! Фантастическое зрелище, как написал «Нью-Йоркер»! Повсюду на фасадах окружавших Таймс-сквер зданий словно капли пота на коже огромного зверя висели ложи Честера. Недорогие места между Сорок пятой и Сорок шестой улицами, подороже – на зданиях, соседних с Таймс-билдинг. Рано или поздно, думал он, эти жмоты все же сломаются, и я смогу закрепиться и на «Таймс»!

«Больше шести лет в прокате! Круче, чем «Юг Тихого океана»! Черт, вот бы еще за вход на площадь деньги

брать...» – он мысленно нахмурился при мысли о всех тех, кто смотрел «Спектакль» с улиц. Задаром! Толпы оставались такими же большими, как в самый первый день. Людям не надоедало смотреть эту пьесу. Они снова и снова возвращались сюда, не замечая течения времени. Представление всегда дарило наслаждение.

«Что за потрясающие актеры, – думал он. – Вот только...»

Эта мысль сформировалась у него в мозгу лишь наполовину. Расплывчатая. Но раздражающая. Засела занозой где-то в глубине сознания. Он передернул плечами, пытаясь отделаться от нее. С чего ему вообще терзаться какими-то сомнениями? Ну...

Он сосредоточился на «Спектакле». Это не требовало особых усилий, потому что актеры обращались непосредственно к сознанию, и так выходило глубже и яснее, чем если бы просто смотреть на сцену.

Он не сразу заметил, что настрой «Спектакля» изменился. Только что актеры исполняли замысловатый пируэт, а секунду спустя они вдруг выстроились у края платформы.

– Это не по сценарию! – сам себе не веря, выпалил он. Сидевшая рядом красотка схватила его за рукав.

– О чем это ты, Барт? – удивилась она.

Он раздраженно стряхнул ее руку.

– Я смотрел «Спектакль» сотни раз. Вот сейчас они должны столпиться вокруг вон той горбатой твари, похожей на птицу, и гладить ее. На что это они уставились?

Он не ошибался. Актеры смотрели сверху вниз на зрителей, которые тоже ощутили, что что-то идет не так, и начали неуверенно аплодировать. Пришельцы смотрели на них глазами, стебельками, ресничками. Они смотрели на людей, столпившихся на мостовых, рассеявшихся по ломам — казалось, они заметили всех этих людей впервые с момента своего прибытия. Что-то шло совсем-совсем не так. Честер почувствовал это первым — возможно, потому, что не пропустил ни одного «Спектакля» с самого начала «проката». Теперь это ощущали и зрители. Толпы на улицах начали понемногу таять.

Честер, наконец, совладал со своими голосовыми связками.

— Что-то... что-то тут не так! Что они делают?

Платформа медленно заскользила вниз по поверхности корабля, но только когда один из актеров ступил с ее края в воздух, до него начало доходить.

И лишь спустя несколько секунд, когда ужас перед предстоящей бойней немного отпустил его, и он смотрел на маленького (сорока футов роста) актера, похожего на сгорбленную птицу, шагавшего через Таймс-сквер, он понял все.

Спектакль вышел замечательный, и актеры наслаждались интересом и вниманием зрителей. Шесть лет они жили одними аплодисментами. Настоящие артисты, кто бы спорил.

И до этой минуты голодали. Ради искусства.

II

Слова ужаса

«Я хочу, чтобы у людей волосы вставали дыбом, когда они читают мою работу, будь это любовный рассказ или милая детская сказка, или история, полная драмы и насилия».

Харлан Эллисон, ТВОРЦЫ МЕЧТЫ: НЕОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, ПИШУЩИЕ НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ.
Интервью с Чарльзом Платтом, 1980.

Многие считают слова «кошмар» и «ужас» синонимами, но на деле это создания совершенно разного толка. «Кошмар» воскрешает в сознании образы разлагающихся трупов, разверстых могил. Что-то гниющее, неуклюже шаркая, надвигается на нас, что-то совершенно отвратительное. Со всем другое дело «ужас», и он напрямую, совершенно однозначно связан со страхом. Харлан написал не так уж много ужастиков исключительно ради ужаса, хотя его полные ужаса рассказы могут иметь кошмарный конец. Если кошмар – это зловещий горный хребет, страх – это блестящий от пота лоб.

Эти рассказы полны скорее ужаса, нежели кошмара.

«Боль одиночества» (1964), вне всякого сомнения, представляет нам портрет одержимости, но его мрачность заключается не в судьбе героя, а в этой жуткой последней стро-

ке. (Хотя возможна и другая интерпретация, вытекающая из того, что Харлан предлагает в качестве ключа к пониманию рассказа: та машина из сна и ее заднее окно.) Страх в этом рассказе сконцентрирован в боли одиночества, при которой все остальное теряет свой смысл.

«Панки и Парни из Йеля» (1966) – на редкость жестокий взгляд на страх, как изнутри, так и извне. Здесь близнецы-иконы, деньги и власть повенчаны с виной. Боязнь Панки оказаться разоблаченным в качестве обманщика, шарлатана, вкуче с порожденной этой же боязнью бравадой ведут его в клоаку американского города навстречу его судьбе.

«Молитва за того, кто не враг никому» (1966) знакомит нас с призраками прошлого, которых этнические или личные проблемы сталкивают друг с другом, порождая ожидаемые и неожиданные конфронтации. Однако уроки из этого безумия извлекают двое подростков, стоящих вне центрального конфликта – именно их он вытряхивает из прежнего самодовольного невежества.

«Коротая срок» (1995) наносит мощный удар и с левой, и с правой. В нем индивидуальная, сугубо личная природа страха, который ощущает каждый из нас, превращается в нечто более скрытное, но, возможно, более глубокое, пронзительное. Какой бы трагичной, горькой и незабываемой ни казалась нам участь Чарли Лумшбогена, в еще большей степени ужасает чудовищная природа общества, которое может творить такое и при этом ощущать себя вполне благополуч-

ным, что подчеркивается здесь самодовольным рефреном и случайными замечаниями насчет проблем с площадями для хранения.

Три рассказа из Шестидесятых, один из Девяностых – но мораль их ни в коем случае не имеет ограничений по срокам.

Именно в моменты насилия, когда мы выступаем против чего-то, мы обнаруживаем то, во что верим, узнаем, есть ли у нас душа. Это поворотные моменты наших жизней.

«Эллисон говорит...», 1973

Боль одиночества

Привычка к ней до сих пор отодвигала его на свою половину кровати. Несмотря на то, что ему не хватало места, чтобы раскинуть руки, или раздвинуть ноги, или лечь под каким-нибудь другим углом, он продолжал спать на своей половине кровати. Такой силы была память о ней, свернувшейся калачиком в центре или прижимающейся к нему спиной, когда их тела изображали пару вопросительных знаков, или как им еще придумывалось лежать в ту или другую ночь... словно она все еще продолжала лежать рядом. Но теперь лишь память о ее тепле держала его в заключении на своей половине. И, связанный по рукам и ногам воспоминаниями и физической потребностью в сне, он возвращался к этому орудию пытки, к этой кровати так редко, как только мог. Бодрствовал до ранних утренних часов, занимался какой-то бессмыслицей, смеялся над смеющимися, подметал дом до тех пор, пока от патологической чистоты не начал бормотать и срываться на визг беззвучно, про себя. Смотрел неинтересные ему фильмы, бесцельно прислушивался к ночным шумам за окном. И наконец, расплющенный грузом часов и требовавших своего телесных функций, падал в ненавистную ему кровать.

Чтобы спать только на своей половине.

Чтобы видеть сны, полные страха и жестокости.

Этот сон, этот чертов повторяющийся сон – все тот же, не считая мелких отличий: на ту же тему, из ночи в ночь, глава за главой одного и того же рассказа. Словно он купил книгу рассказов-ужастиков: все об одном и том же, но рассказанные по-разному; вот так и эта цепочка темных видений.

Сегодня на него напал номер четырнадцатый. Чисто выбритое дружелюбное лицо с широкой, обаятельной улыбкой. Ежик короткостриженных рыжеватых волос, каштановые брови – на первый взгляд все это создавало впечатление веселой, бесхитростной натуры, добряка, готового на дружбу без всяких условий. При других обстоятельствах, не сомневался Пол, они наверняка стали бы с этим парнем закадычными друзьями. Даже во сне он думал о нем как о «парне» – не как о «юноше», не как о «мужчине», не – что было бы точнее всего – как об убийце. В любом другом месте, за исключением этого подернутого дымкой кошмара, при любом другом сценарии они бы дружески похлопали друг друга по бицепсу и сказали бы друг другу что-нибудь типа: «Эй, чертяка, как сам?». Но это был сон, его последний по времени вариант, и этот славный парень из колледжа стал четырнадцатым. Четырнадцатым в бесконечной веренице симпатичных типов, посланных убить Пола.

Сценарий сложился уже давно, менялись только реплики и поступки персонажей (количество дублей не ограничено, детали расплывчаты – равно как и переходы между сценами, логика искажена, как и положено во сне). Пол был членом

этой банды, или группы, или просто компании, как ее ни назови. Теперь все обернулось против него. Они твердо вознамерились его убить. Навались они на него всем скопом, это не составило бы труда. Но по какой-то причине, казавшейся логичной только во сне, это поручалось лишь одному из них, по очереди. И каждый раз, когда какой-то симпатичный тип пытался пришить его, Пол его убивал. Одного за другим, со всеми мельчайшими подробностями, с предельной жестокостью, разными, но равно отвратительными способами, – убивал. На него нападали уже тринадцать раз – вполне приличные, симпатичные люди, которых при других обстоятельствах он был бы рад назвать своими друзьями – и тринадцать раз он избежал смерти.

По два, по три, а то и (однажды) по четыре за ночь на протяжении нескольких последних недель (то, что он до сих пор убил всего тринадцать человек, было связано с тем, что иногда ему удавалось не спать вообще, а иногда он проваливался в сон полностью вымотанным, и ему не снилось ничего).

И все же самой мучительной частью сновидений были сами до невозможности жестокие схватки. Не какая-нибудь примитивная перестрелка, не достойное уважения отравление, не то, что можно было бы вспомнить, проснувшись, и чем можно было бы поделиться с кем-либо – просто странная, поданная со всеми неприглядными деталями схватка не на жизнь, а на смерть.

Один из убийц набросился на него с узким, невероятно

острым стилетом, и Пол долго, бесконечно долго боролся с этим человеком, изрезав себе ладони и чувствительные складки кожи между пальцами, пока реальность смерти от ножа не захлестнула его трепещущее во сне тело с головой. Казалось, в нем проснулось ощущение неизбежности смерти. Из простого сна это перешло на какой-то новый уровень кошмара, с которым ему теперь предстояло жить. С этим предстояло свыкнуться. В конце концов, помнится он сжал руки нападавшего на рукояти его же собственного ножа и всадил его ему в живот глубоко, преодолевая сопротивление плоти, ощущая, как клинок прорывается сквозь упругую ткань внутренних органов. А потом выдернул стилет из тела смертельно раненого убийцы и бросился с ним на остальных (сам, или кто-то другой в его теле?), пока не прикончил всех. Одного, упавшего перед смертью на колени, он убил ударом обломка статуэтки из черного мрамора. Еще одному удалось сбежать, и он несясь прочь, крича на бегу, пока Пол (оскалившись как хищный зверь) не столкнул его с края утеса. Наслаждение, с которым он наблюдал за долгим падением тела, ожидание столкновения с камнями внизу было, пожалуй, самым отвратительным на этом отрезке сна. Однако же за этим сновидением последовало другое, в котором очередной убийца напал на Пола с каким-то оружием, Пол даже забыл уже с каким именно, а Пол отбился от него тяжелой цепью, какую надевают зимой на шины грузовиков: сначала захлестнул цепь у того на шее и дернул так, что звенья про-

рвали кожу, а потом хлестал неподвижное тело, пока оно не перестало подавать признаков жизни.

Один за другим. Тринадцать человек, только сегодня уже двое, а теперь номер четырнадцать: симпатичный парень с обаятельной улыбкой и тяжелой кочергой в умелых руках. Эта кодла никогда не оставит его в покое. Он ускользал, он прятался, он пытался избежать необходимости убивать их, но они каждый раз находили его. Он бросился на этого парня, вырвал кочергу из его рук и с размаху ткнул в него острым концом. Он приготовился уже увидеть последствия этого удара (один конец кочерги был, действительно, острый как наконечник копья), когда одновременно зазвонили телефон и дверной звонок.

Мгновение полного, оглушительного страха он лежал на спине; ровная простыня на другой половине кровати чуть помялась под его откинутой рукой. На той половине кровати, где раньше спала она. На гладкой простыне, чуть помятой его рукой, его сном.

Телефон и звонок продолжали трезвонить нестройным дуэтом.

Что ж, зато они спасли его от необходимости видеть, во что превратилось от его удара лицо симпатичного парня. Этакie мелодичные спасители, на которые нажимает бдительный Господь, отмеряющий в каждый сон строго дозированное количество страха и унижения. Он прекрасно понимал, что следующий сон начнется ровно с того места, на ко-

тором оборвался предыдущий. И вряд ли стоило надеяться на то, что он сможет оттянуть этот следующий сон на год, на два – только бы не видеть, как умирает этот парень с обаятельной улыбкой. Он знал, что увидит это. Он лежал и слушал звонки, доносящиеся от двери и с тумбочки. Пускай трезвонят, пускай будят. Теперь он даже боялся отвечать на них.

Наконец он перевернулся на живот и протянул руку в темноту, которая не удерживала его. Он снял трубку, рывкнул в нее: «Подождите минуточку!», – перевернулся, спустил ноги с кровати и на автопилоте подошел к двери. Звонок прервался в очередной раз, он отворил дверь и в тусклом свете холла увидел только силуэт, лишенный конкретных черт. Он услышал голос, но слов не разобрал.

– Иду, иду, – раздраженно бросил он. – Ради бога, не закрывайте дверь, – он повернулся, вернулся к кровати, поднял лежавшую на подушке трубку и прокашлялся.

– Да, теперь все в порядке. Кто это?

– Пол? Что, Клер доехала к тебе? – он выморгал из уголков глаз комочки засохших слез и попытался идентифицировать голос. Кто-то знакомый, кто-то из друзей...

– Гарри? Это ты, Гарри?

Гарри Докстейдер на другом конце провода чуть слышно выругался.

– Ага, я, я. Скажи, Пол, Клер у тебя?

Поток света вдруг ослепил Пола Рида. Он зажмурился,

снова открыл глаза, снова закрыл и, наконец, поморгав, открыл их окончательно – действительно, у двери стояла, держа руку на выключателе, Клер Докстейдер.

– Да, Гарри, она здесь, – только тут до него дошла вся дикость ситуации. – Гарри, что, черт подери, происходит? Клер здесь – почему же она не с тобой? Кой черт она здесь?

Это был безумный разговор, абсолютно лишенный смысла, но он еще не совсем проснулся.

– Гарри?

Голос на другом конце провода сорвался на рык.

А потом Клер стремительно яростно налетела на него.

– Дай мне трубку! – решительно потребовала она. Чекая каждое слово, врезаясь в его слух слишком грубо для столь раннего часа, каждый слог ложился прочно, – и все это почти не разжимая губ, как умеют одни лишь женщины. – Дай же мне трубку, Пол. Дай мне поговорить с ним... Алло, Гарри? Сукин ты сын, гори ты в аду, гребаный ублюдок! У-у, ублюдок!

И буквально швырнула трубку.

Пол сидел на краю кровати, ощущая себя голым (хотя обнажен был только по пояс), босыми ногами на ковре. В столь ранний час женщины обычно не пользуются такими выражениями.

– Клер... что, черт подери, происходит?

Еще мгновение она стояла, трепеща от ярости – ни дать, ни взять разгневанная валькирия. Потом вдруг сразу поник-

ла и, доковыляв до кресла, рухнула в него и разревелась.

– У-у, что за ублюдок! – повторила она. Не Полу, не умолкнувшему телефону – скорее, просто в воздух. – Этот жалкий бабник, этот вонючий скунс со своими потаскухами, со своими забулдыгами, которых он водит в наш дом. Господ и боже мой, и зачем я только вышла за этого вонючего скунса?

Это она говорила, само собой, уже не в воздух, а конкретно Полу. Даже без подробностей, даже в этот ранний час, это так сильно напомнило Полу о его собственном недавнем прошлом, что он поморщился. А все слово «бабник». Его сестра назвала его так, узнав, что они с Жоржеттой разводятся. Гнусное слово «бабник». Оно до сих пор звенело у него в ушах.

Пол встал. Полуторакомнатная квартирка, в которой он жил один (теперь), вдруг показалась тесной и душной. Теперь, когда в ней была женщина.

– Кофе хочешь?

Она машинально кивнула, продолжая перебирать свои мысли как четки, с обращенным внутрь себя взглядом. Он прошел мимо нее в крошечную кухню. Электрическая кофеварка стояла на столе; он поднял ее и поболтал, проверяя, много ли осталось в ней с прошлого раза. Тяжелый всплеск убедил его, и он сунул вилку в розетку.

Когда он вернулся в комнату, она подняла на него взгляд. Он плюхнулся на кровать и поправил подушку под плечами.

– Ладно, – сказал он, протягивая руку к пачке сигарет, лежавшей рядом с телефоном. – Выкладывай. Кто это был на сей раз, и долго ли это тянулось, прежде чем ты его прищучила?

Клер Докстейдер прикусила губки так сильно, что на щеках появились недовольные ямочки.

– Да ты ничуть не лучше Гарри, как есть кобель. Только такой же вонючий скунс мог высказаться вот так!

Пол пожал плечами. Он был высок, подтянут, с копной светлых волос на голове. Он отбросил волосы со лба и прикурил. Он не хотел смотреть на нее. Некто у него в комнате, почти сразу после Жоржетты, слишком скоро. Тем более жена друга. Он затаился.

«Вечно ты чем-то недоволен», – подумал он. Он казался слишком длинным для этой неприбранной кровати, такими женщины не интересуются, хотя, судя по всему, все обстояло вовсе не так, поскольку теперь она смотрела на него уже по-другому.

Настроение в комнате слегка, но изменилось, словно до нее вдруг дошло, что она не просто ввалилась к нему в комнату: она ввалилась к нему в спальню, в комнату, в которой не просто жили, но и занимались всякими другими вещами. Они находились очень близко друг к другу и, хотя обстоятельства удерживали их в рамках приличий, оба понимали, что в любую минуту все может измениться. Оба вдруг почувствовали себя неловко. Он подтянул простыню повыше,

она отвернулась.

Хорошо хоть на кухне зафыркала, заклокотала кофеварка. – Господи, который сейчас час? – спросил Пол (не столько у нее, сколько у самого себя, самозащиты ради). Он взял с тумбочки будильник и уставился на его дурацкий циферблат так, словно цифры что-то значили. – Бог мой, три часа! Вы что, ребята, спать вообще не ложитесь? – вот уж чья бы корова... Это он не спал, не ложился, так что кого он хотел обмануть этой репликой из дешевой постановки?

Она поерзала в кресле, оправляя задравшийся неприлично высоко подол, и Пол в который раз восхитился тем, что дарят взгляду мини-юбки. Настоящий подарок ценителю женских ног, каковым с изобретением мини-юбок он стал себя считать. Она перехватила его взгляд и пару секунд подержала его, только потом позволив ему испариться на дне ее собственных глаз, словно не заметив связанного с этим приглашения.

Все происходило даже слишком просто. Союз вины и возможности был заключен без оглядки на приличия или хотя бы их подобие. Пол жил один не слишком давно, чтобы ставить на первое место мораль, а Клер все еще кипела гневом. Никто не озвучил названия игры, но играли в нее оба, и оба знали, что это все равно произойдет.

И, стоило Полу Риду признать свое одиночество, как его чувство вины и его желания сообща начали толкать его (чего зря время терять, нет, ну скажите!) к адюльтеру, любовно-

му действию, совершаемому без катализатора любви. Что-то неприятное начало происходить в пустом, темном углу его комнаты.

Впрочем, начала этого он не заметил.

– Почему ты решила удрать именно ко мне? – спросил он.

– Ты единственный, о ком я подумала, кто мог не спать в такой час... ну, и я не то, чтобы слишком внятно соображала... слишком разозлилась для того, чтобы думать, – она замолчала; она и так сказала больше, чем высказала словами. Из всех мест, куда она могла бы пойти, из всех людных баров, где кто-нибудь мог бы подцепить ее и трахнуть в отместку, из всех женатых знакомых, накопленных за годы жизни с Гарри, из всех дешевых гостиниц, где можно за восемь баксов провести вполне целомудренную ночь, она выбрала Пола с его гостиной, которая служила одновременно и спальней, а также дырой в мир, где из разочарования и боли рождается вина.

– Э... а... а кофе готов уже? – спросила она.

Он выскользнул из-под простыни, почти физически ощущая ее взгляд на своем теле, и прошел на кухню. Он чувствовал боль в тех местах, где совсем не хотел бы ее чувствовать, и он знал: все, что будет дальше – сплошная ошибка, и еще знал, что будет не просто презирать ее и себя после того, как это произойдет, после того, как они убьют нечто, возникшее между ними, но что он вообще почти не будет думать об этом. Он ошибался.

Когда он подавал ей чашку с кофе, их руки соприкоснулись, а взгляды встретились в первый раз по-новому, и в миллионный раз началось движение по кругу. А раз начавшись, оно уже не могло остановиться.

В то время, как в углу медленно, но верно, продолжало развиваться нечто безобразное, незамеченное пока никем. Их бессмысленная страсть стала повитухой при этих странных родах.

Одного механизма развода с лихвой хватило бы на то, чтобы размолоть его в тончайшую пыль. Одних только мелких болячек от необходимости ходить по квартире, где они прежде то и дело сталкивались друг с другом, от переговоров с адвокатом, от заполнения всяких анкет, от телефонных звонков, лишенных даже малейших попыток услышать друг друга, от взаимных обвинений и, что хуже всего, от неуклонно обостряющегося понимания очевидного факта: то, что пошло наперекосяк, было не реальным, не материальным, но сочетанием мыслей, мнений, пошедших прахом мечтаний. Совершенно не материальных, но настолько существенных, что они смогли разрушить его брак с Жоржеттой. Так, словно они физически вырвали ее из его рук, из его мыслей, из его жизни. Порожденные сознаниями их обоих призрачные диверсанты, единственной целью которых было разрушить, порвать в клочки их союз. И ведь эти мысли и неясные образы взяли-таки свое, так что теперь он обитал один в полуторакомнатной квартирке, пока она трещала погремушками,

бормотала заклинания и варила зелья – все в строгом соответствии с колдовскими книгами по разводу. И по мере того, как развивался процесс их разделения – как валун, бездумно скатывающийся вниз по склону, сдержат нарастающую энергию качения которого возможно лишь почти невероятным усилием – его жизнь катилась по новым рельсам отдельно от нее, однако полностью определяемая самим фактом ее существования и реальности ее отсутствия.

Наутро она позвонила ему. Очередной разговор из многих, полных взаимных уколов, горечи и разгоряченных реплик, закончившийся тем, что он пожелал ей идти к черту, и что до окончательного решения суда она не получит от него ни цента, и что если ей не хватает денег, ему на это насрать.

– Суд присудил тебе сто двадцать пять долларов в месяц обеспечения, и это все, что ты получишь. Меньше на шмотки тратиться надо, тогда тебе вполне хватит на жизнь.

На другом конце трубки что-то прочирикали в ответ.

– Сто двадцать пять, детка, и точка! Заметь, это *ты* от меня ушла, не *я* от тебя, и не жди от меня потакания твоим безумным фортелям. Мы разошлись, Жоржетта, вдолби это себе в свою платиновую головку, между нами все кончено. Я сыт по горло тобой, я сыт по горло грязной посудой в раковине, твоей боязнью спускаться в метро, твоими «ах, не трогай моих волос» после твоих гребаных салонов красоты, а еще... ох, блин, даже перечислять не хочется. Короче, мой ответ тебе...

Его снова прервало чириканье, переданная по проводам желчь, усиленная электроникой, полная яда ненависть, которая лилась из трубки прямо ему в мозг.

– ...Да? И тебя туда же, дура головожопая, и еще подальше. Иди к черту! Ни цента тебе от меня до окончательного вердикта, и насрать мне на то, сколько денег тебе не хватает!

Он шмякнул трубку на аппарат и пошел одеваться к предстоящему свиданию. Он подцепил девушку, брюнетку секретаршу, с которой познакомился в страховой конторе, но чувствовал себя при этом так, словно получал пособие по безработице – словно это полагалось ему по статусу, но особого облегчения не приносило.

Охмурять девушку в первый раз после развода, действительно, в точности напоминало пособие по безработице. Достаточно, чтобы не сдохнуть, но и жить полноценно на него не получится. Пособие. Подача, но необходимая. Случайная девушка со своей собственной жизнью, чей путь пересечется с его дорожкой один только раз, а потом они пойдут дальше, не оглядываясь, каждый сам по себе, налегке.

– Боюсь, компаньон сегодня из меня выйдет не так чтобы очень, – сообщил он ей, когда она села в машину. – Очень похожая на тебя внешне женщина сегодня вынесла мне весь мозг.

– Да ну? – осторожно удивилась она. Это было их первое свидание. – И кто же это?

– Моя бывшая, – ответил он, соврав ей в первый раз. Он

не смотрел на нее, за исключением момента, когда потянулся через салон, чтобы отворить ей дверь. А потом смотрел только прямо вперед, трогая старенький «Форд» с помутневшей эмалью с места и вливаясь в поток машин.

Она изучающее смотрела на него, пытаясь понять, насколько удачной была идея принять приглашение отобедать с клиентом их конторы, пусть даже с парнем с неплохим чувством юмора. На его лице не осталось и следа того юношеского задора, который он демонстрировал первые три посещения их офиса. Он сделался жестче, словно легкий, воздушный материал, который раньше составлял его основу, загустел как соус недельной давности. Он был несчастлив и взвинчен, конечно, вот этого у него в избытке, но что-то еще сквозило в выражении его лица, какая-то сонливость, и это ее почему-то пугало – хотя она не сомневалась в том, что ей самой это ничем не грозит. С другой стороны, это, похоже, грозило ему и еще как.

– Почему ты позволяешь ей выносить тебе мозг? – поинтересовалась она.

– Думаю, потому, что я все еще люблю ее, – ответил он. Чуть быстрее, чем мог бы, словно он репетировал эту фразу.

– А она тебя любит?

– Ну, возможно, да, – он помолчал. – Угу, – добавил он задумчивым тоном. – Даже уверен, что любит. Иначе с чего бы мы так старались угробить друг друга. Вот только больно от этого обоим. От того, что она меня любит.

Она поправила сумочку на коленях и попыталась перевести разговор в другое русло, но все, что приходило ей в голову – это что надо было сказать ему, что сегодня вечером я занята.

– Я что, правда так на нее похожа?

Он смотрел строго вперед, небрежно, но уверенно держась за руль, словно испытывал глубокое внутреннее удовлетворение от самого процесса вождения, от возможности направлять эту металлическую махину строго по заданной им траектории. И выходило так, что он сидел рядом с ней, но в то же время где-то очень далеко, слившись в объятии со своей машиной.

– Ну, нет, конечно, на самом деле нет. Она блондинка, ты брюнетка. Так, лоб немного похож, а еще твои волосы: ты собираешь их в такой же хвост, и морщинки у глаз... Это, а еще цвет твоей кожи. Как-то так: скорее напоминание о ней, чем настоящее сходство.

– Ты поэтому меня пригласил?

Несколько секунд он раздумывал, сжав губы, потом открыл рот.

– Нет. Не в этом дело. Если честно, когда до меня дошло, что ты напоминаешь мне ее, я хотел позвонить к вам в офис и отменить встречу.

«Ну так почему ты этого не сделал», – с горечью подумала она. – «Зря я тогда согласилась».

– Нам ведь необязательно ехать, правда?

Он, наконец, повернулся к ней, спохватившись.

– Что? Ох, черт, я вовсе не хотел тебя расстраивать! Эта фигня тянется уже несколько месяцев, да и вообще, это из тех проблем, что рано или поздно сами рассосутся. Только не думай, что я пытаюсь увильнуть от того, чтобы угостить тебя.

– И в мыслях не было, – довольно холодно ответила она. – Я просто подумала, вдруг тебе хочется побыть сегодня одному.

Он улыбнулся, но улыбка вышла бледной, напряженной – он наполовину хмурился, наполовину скалился – и чуть заметно мотнул головой.

– Господи! Что угодно, только не это. Не одному. Не сегодня.

Она откинулась на виниловую крышку сидения, вдруг исполнившись решимости испортить ему вечер.

Время тянулось как резиновое, и он решился нарушить молчание.

– Так куда бы тебе хотелось? – поинтересовался он совершенно другим тоном – фальшивым, как прекрасно понимали оба. – В китайский ресторан? Или итальянский? Я знаю один славный маленький армянский...

Она продолжала молчать, и это сработало: вид у него сделался еще несчастнее, чем прежде, а потом прошло и это, и он разозлился, прямо-таки закипел от ненависти. Ему хотелось или прямо сейчас затащить ее в постель, или выкинуть

к чертовой матери, только бы не мучиться вот так целый вечер. В общем, она сама себе все подгадила, и в результате та мягкость, та нежность, которые он намеревался выказывать на протяжении вечера, оказались за толстенной каменной стеной. Мягкость сменилась коварством. И досадой.

– Слушай, – вкрадчиво произнес он (снова другим тоном, отполированным, блестящим и скользким). – Я тут не успел побриться, прежде чем подъехать за тобой, и чувствую себя совершенным бомжом. Не против, если мы завалимся на минуту ко мне, чтобы я щетину соскоблил?

Это ее, конечно, не обмануло. Она успела побывать замужем и развестись, она встречалась с мужчинами с пятнадцати лет и прекрасно понимала, что он имеет в виду. Типа privately показать свои гравюры, ага. Она не спеша, со всех сторон обдумывала это предложение в то бездыханное мгновение, в какое принимаются обычно решения. Она с самого начала знала, что идея никуда не годится, что ничего хорошего из этого не выйдет, что с ее стороны вообще глупость думать об этом серьезно, и что он сдаст назад, стоит ей выказать малейшее неодобрение. Ну да, да, плохая идея, надо отказаться сразу: окончательно и бесповоротно, и она сейчас откажется.

– Идет, – сказала она.

На следующем перекрестке он резко свернул.

Он смотрел на ее лицо и видел, какой она станет в шестьдесят пять. С кристальной четкостью он увидел ее состарив-

шейся. Поверх черт ее бледно-розового, казавшегося темным на фоне подушки лица, он видел превратившееся в серую маску лицо старухи, в которую она когда-нибудь превратится. Рот с тяжелыми складками по углам, растрескавшиеся губы, пыльные тени, угнездившиеся под глазами, какие-то темные пятна, скрывающие черты – так, будто целые куски лица отданы в обмен на продолжение жизни, даже ценой потери внешности. Плоть, покрытая темной патиной – такой след оставляет раздавленный мотылек: тончайшая пыльца с крыльев, отпечатавшаяся на поверхности, где произошла эта смерть. Он смотрел на нее и видел двойное изображение, будущее, наложившееся на ее настоящее, превращающее лежащую рядом любовницу в набор запасных частей и перегоревших страстей. Призрачная, иссушенная паутина вероятности, угнездившаяся на дне глазниц, облепившая губы, которые он целовал, истекающая из ноздрей, чуть заметно пульсирующая в тенях на ее горле.

А потом видение померкло, и он вновь видел бессмысленное создание, только что им использованное. В глазах ее мерцал какой-то безумный огонек.

– Скажи мне, что любишь, – хрипловатым голосом промурлыкала она. – Соври хотя бы.

В голосе ее звучали голодная настойчивость, удушливая настырность, и сердце его болезненно сжалось, а озноб мгновенно погасил и желание, и только-только обретенное ощущение реальности. Ему хотелось вырваться из нее, от нее,

отстраниться как можно дальше, забиться в дальний угол спальни, сжаться в комок...

Но выбранный им угол спальни уже был занят. Чем-то темным, громоздким, зловещим. Что-то дышало в том углу – с усилием, но ровнее, чем прежде; казалось, это дыхание участилось, когда они вошли в квартиру, и все время, пока они пикировались, парируя уколы и нанося ответные удары, оно продолжало ускоряться, и в конце концов ритм этого дыхания сделался почти нормальным. О, и еще оно обретало форму, обретало форму...

Пол ощущал это, но как мог отмахивался от тревожного чувства.

Глубокое дыхание, низкое, стесненное, но становящееся все ровнее и ровнее.

– Скажи мне. Скажи, что любишь – девятнадцать раз, подряд, без перерыва.

– Я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя, – начал он, приподнявшись на локте и загибая пальцы левой руки. – Я люблю тебя я люблю тебя я лю...

– Зачем ты считаешь? – спросила она, вроде как кокетливо, хотя на деле это выглядело гротескной пародией на наивность.

– Не хочу сбиться, – недовольно отрезал он. Он сполз-таки с нее и перевернулся на спину, на половину Жоржетты (ощущая себя при этом на редкость неуютно, словно отпечатки ее тела остались вмятинами на простыне, но даже так

он не хотел позволять этой девице лежать на ее половине). – Спи, – посоветовал он ей.

– Не хочу спать.

– Ну так поди, убейся об стену, – рявкнул он и предпринял героическое усилие по возвращению ко сну. Зажмурившись, прекрасно понимая, как разозлится сейчас лежащая рядом девица, он приказал себе уснуть, и тихо-тихо, осторожно, как фавн в полном дурных предчувствий лесу, сон вернулся. Тот самый сон.

В глаз. В правый глаз! Острие кочерги вонзилось в глазницу и вышло на затылке. Пол отчаянно отшатнулся при виде этого зрелища, а короткостриженный парень повалился мимо него – еще живой, бьющийся в судорогах, но умирающий каждой клеточкой своего тела с каждой чертовой секундой. Звездное небо над головой пошло кругом: Пол крутанулся на пятках и оказался в другом месте. На какой-то площади...

По освещенной яркими витринами улице валила толпа – где-то в Беверли-Хиллс, наверное, по яркой, элегантной, до невозможности чистой улице – на него валила грозно рычащая толпа.

Все до одного щеголяли в масках – карикатурных, гротескных, изготовленных к какому-нибудь празднику вроде Марди Гра или к карнавалу, или к костюмированному вечеру, или к ведьмовскому шабашу, где открывать свое лицо вообще не стоит: заколдуют. Неизвестные, бегущие по улице на него в контрастном изображении группового сумасше-

ствия. Видение Босха, фрагмент недописанного полотна Дали, страшный сон Хогарта, пантомима из ближних кругов Дантова Ада. И все несло на него.

Ну, наконец-то: после всех последних недель матрица сна сменилась, и отдельные кошмары ринулись теперь на него всем скопом. Не по одному, не в очном поединке, не в бесконечной череде симпатичных убийц. Теперь они объединились в облике гротескных тварей в масках, жаждущих крови.

«Если бы я только мог понять, что все это значит, я бы увидел картину в целом», – подумал он.

В самый разгар этого полного красок сна он вдруг как-то сразу понял: вот если бы ему удалось понять смысл того, что разворачивалось сейчас у него на глазах (и это при том, что он осознавал: все это сон), это дало бы ему ключ к решению его проблем. Поэтому он сосредоточился: «Если бы я только понял, кто они, что делают здесь, чего им от меня нужно, почему они не позволяют мне убежать, почему гонятся за мной, чем их можно унять, как убраться от них, кто я, кто я, кто я... вот тогда я освободился бы, собрался бы воедино, и все прошло бы, завершилось, закончилось...»

Он бежал по улице, по добела выметенной улице, виляя из стороны в сторону, уворачиваясь от машин, которые внезапно заполнили улицу в ожидании зеленого сигнала светофора. Он добежал до перекрестка и свернул, продолжая бег среди еле ползущих машин. Страх сдавливал горло, ноги болели от бега, и он искал спасения, выхода, *любого выхода*

отсюда – места, где он мог бы укрыться, отдохнуть, где он мог бы закрыть дверь и знать, что сюда они не ворвутся.

– Эй! Давайте ко мне! – крикнул ему мужчина из машины, в которой сидел со всей своей семьей. Многодетной. Пол бросился к машине, и мужчина открыл ему дверь, и он нырнул в машину, над опущенной спинкой переднего сидения, на задний диван. Пролезая туда, он толкнул водителя, прижав его на мгновение к рулю, а потом спинка откинулась обратно вверх, Пол сидел на заднем диване с детьми, вот только сидеть там оказалось невозможно, потому что весь диван был завален (Чем? Одеждой? Какими-то другими шмотками?), и ему пришлось перевалиться через спинку, прикинуть к заднему окну.

(Но как?! Он же здоровый взрослый человек, он не смог бы втиснуться в такое узкое пространство. Это ведь не детство, когда они с папой и мамой выезжали за город, и он лежал под задним окном, потому что задний диван был завален всяким снаряжением, или как это было, когда отец умер, и они с мамой переезжали из их дома в другой...

И почему это вдруг вспомнилось ему с такой яркостью?

И вообще, он взрослый человек или маленький мальчик?

Ответьте же, кто-нибудь!)

Он выглянул в заднее окно и увидел, что толпа жутких фигур в масках, с угрожающе горящими глазами, осталась позади. И все же он почему-то не чувствовал себя в безопасности. Он был с теми, кто мог помочь ему, с этим мужчиной

за рулем, сильным, уверенным, легко обгонявшим машину за машиной, чтобы спасти Пола от преследователей, и все же он не чувствовал себя в безопасности... почему?

Он проснулся в слезах. Девушка ушла.

Эта краля жевала резинку, пока они занимались любовью. Малолетка с пышными бедрами, которая еще не научилась жить в своем теле. Они занимались любовью медленно, скучно, словно выполняли нудную работу. Она вспоминалась ему потом таким плодом его воображения, образом, от которого не осталось ничего, кроме ее смеха.

Смех ее напоминал хруст раскрываемых гороховых стручков. Он познакомился с ней в гостях, и привлекательностью своей она была обязана прежде всего количеству выпитых им порций водки с тоником.

Другая была совершенно очаровательна, вот только принадлежала к тем женщинам, которые, входя в дом, производят впечатление того, что только что отсюда вышли.

Еще одна – маленькая, изящная – непрерывно визжала, только потому, что вычитала в какой-то бездарной книженции, будто женщины, кончая, визжат. Или, что точнее, не в бездарной, а просто в никакой книжке. Потому что и сама была никакая.

Одна за другой проходили они через его полуторакомнатную квартирку, случайные адюльтеры без цели и смысла, и он снова и снова позволял себе мелкие развлечения, пока в конце концов не осознал (не без помощи того, что обретало

форму в углу), что же он делает с собой, превращая свою жизнь в то, что и жизнью не назовешь.

В книге Бытия сказано: «...у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе...». Так что ничего нового в этом не было, все это древнее, столь же древнее, как бессмысленное действие, породившее его, как безумие, которое дало ему вызреть, как чувство вины, – боли одиночества – которое рано или поздно, но неизбежно заставит его пожрать себя самого, а также все, что случилось с ним рядом.

В ту ночь, когда он в буквальном смысле этого слова заплатил за любовь, в ночь, когда он полез в свой кошелек и достал из него две десятидолларовых бумажки, и отдал их той девушке, тварь окончательно обрела форму.

Девушке... когда «хорошие девушки» упоминают в разговоре «потаскух», они имеют в виду именно эту девушку и ее сестер по несчастью. Но на самом деле нет такой профессии «потаскуха», и даже самые закоренелые правонарушители никогда не называют себя таким словом. Труженица, специалист по доставлению удовольствия, по оказанию услуг, умница, та, с кем можно хорошо провести время – примерно так она о себе и думала. У нее была семья, прошлое, а еще лицо... ну, и все то, что нужно для секса.

Однако же продажность в любви – самое что ни на есть распоследнее дело, и если уж дошло до этого, если отчаяние и издерганные эмоции толкают к этому, значит надеяться уже не на что. Обратного пути из этой бездны нет, спасти

способно только чудо, а чудес с самыми заурядными из заурядных людей в наше время больше не происходит.

И стоило ему протянуть ей деньги, пытаясь понять, господи, за что – как тварь в углу, рядом с бельевым шкафом, обрела свою окончательную форму, и материальность, и будущее. Ее вызвала к жизни последовательность чисто современных заклинаний, сложившихся из звуков страсти и запаха отчаяния. Девушка застегнула лифчик, прикрыла себя синтетикой и побрякушками и оставила Пола сидеть, оглушенным, лишенным способности двигаться от страха перед своим новым соседом по комнате.

Оно смотрело на него, и, как ни пытался он отвести взгляд (кричать и звать на помощь, он понимал, бесполезно), он смотрел в эти глаза.

– Жоржетта, – хрипло прошептал он в трубку. – Послушай... послу... да послушай же, бога ради... да... да помолчи хоть секунду, ну же, ну... ну... **ДА ЗАТКНИСЬ ХОТЬ НА ЧЕРТОВУ СЕКУНДУ!** Ну же... – она, наконец, прервалась, и его слова, лишенные необходимости встраиваться в короткие промежутки между ее словами, остались стоять голышом в пустоте, в повисшем между ними молчании, застряли у него во рту, робкие, трепещущие.

– Ладно, продолжай, – нехотя буркнул он.

Она сказала, что ей больше нечего сказать, и зачем он ей звонит, и ей вообще уходить пора.

– Жоржетта, у меня тут... ну... одна проблема, и мне надо

поговорить с кем-то, и я так подумал, ты единственная, кто мог бы меня понять, видишь ли я, ну...

Она сказала, что у нее нет знакомых в абортариях и что если одна из его девиц залетела, что ж он может использовать крючок от вешалки – старой, ржавой вешалки – вдругда поможет.

– Нет. Да нет же, дура несчастная, это вовсе не то, что меня пугает. Не в этом дело, и вообще, какое тебе дело, с кем я встречаюсь, не твое это собачье дело, на тебе самой клейма некуда ставить, и... – он осекся. Именно так начинались все их ссоры. С одного на другое, прыг-скок, как горные козы с камня на камень, а там и то, с чего начался разговор, забывалось, только бы рвать и кусать друг друга из-за какой-то фигни.

– Жоржетта, пожалуйста! Выслушай меня. Тут... ну... какая-то тварь, что-то вроде зверя. Живет прямо здесь, в квартире.

Наверное, она решила, что он сбрендил. Что он имеет в виду?

– Не знаю. Я не знаю, что это.

«На что это хоть похоже, на паука? На кошку? Или на что?»

– Вроде медведя, только это не медведь. Жоржетта, я правда не знаю, что это. Оно ничего не говорит, только смотрит на меня и...

«Да что у него, крыша поехала, или еще чего, мать его

растак? Медведи не разговаривают, разве что в телике, и что он вообще, пытается дурачка валять, только бы не платить то, что суд постановил? И вообще, с чего это он ей с этим звонит?» Закончился разговор словами: «Мне кажется, у тебя крыша поехала, Пол. Я всегда говорила, что ты псих, а теперь ты сам это подтверждаешь».

А потом она положила трубку, и он остался один.

С этой тварью.

Закуривая, он краем глаза покосился на нее. Угнездившись в дальнем конце комнаты, рядом с бельевым шкафом, неподвижно сидела со сложенными на груди лапищами, огромная, мохнатая бурая тварь. Похожая на огромного медведя-кодыка с Аляски, только совершенно других очертаний, она словно магнитом приковывала к себе взгляд и мысли. Огромные, безумные золотые диски глаз, не мигая, смотрели на него.

(Это описание... Нет, забудьте. Эта тварь ни капельки на него не походила. То есть совершенно.)

И он ощущал его укор, даже запершись в ванной. Он сидел на краю ванны, наполняя ее горячей водой до тех пор, пока не запотело зеркало над раковиной, и он не перестал видеть свое отражение, тем более что безумный огонь в его глазах слишком напоминал слепой взгляд твари в комнате. Его мысли стекали как лава, а потом так же лавово застыли.

Тут до него вдруг дошло, что он ни разу не смотрел на лица женщин, перебивавших в этой квартире. Ни разу, ни

на одно лицо. Все до одной запомнились ему безликими. Он сейчас даже лица Жоржетты вспомнить не смог. Ни одного лица. Ни одного выражения, которое стоило бы запомнить. Он трахался с какими-то угловатыми трупами. Его замутило, и он вдруг понял, что должен выбраться отсюда, из квартиры, лишь бы подальше от твари в углу.

Он пулей вылетел из ванной, бегом бросился к двери, рикошета о стены, вырвался в коридор и, захлопнув дверь, привалился к ней снаружи. Он стоял, жадно глотая воздух, и только теперь сообразил, что вряд ли отделается так легко. Тварь будет ждать его по возвращении, когда бы он ни вернулся.

И все же он ушел. Он сидел в баре, где не крутили ничего, кроме записей Синатры, и он поглотил столько сентиментальной печали и жалости к себе любимому, сколько вообще можно вытерпеть, и, наконец, вывалился из места, где звучал перебор струн, и голос выводил:

*Слуги черной ночи
Помнят о былом:
Все мои любви
В зеркале кривом...*

Потом было другое место, наверное, пляж, он стоял на песке, наслаждаясь царившей внутри него тишиной, а в черном небе кружили чайки, сводя его с ума своими криками: кри-кри-кри... — и он зарывался руками в песок и швырял

пригоршни в эту зернистую темноту над головой, пытаюсь убить этих чертовых визгливых гарпий!

И другое место, где были огни, и они что-то означали, какую-то всевозможную невнятицу – неоновые огни, грязные реплики, и он не смог прочитать ни одну из них. (Еще в одном месте он совершенно точно увидел приснившихся ему преследователей в масках и поспешно сбежал оттуда.)

Когда он наконец вернулся домой, девица, которая пришла с ним, чертыхалась и повторяла, что она ему не телескоп, но ладно, так уж и быть, она посмотрит на то, что он хочет ей показать, и скажет ему, что это. Поэтому, поверив этим ее словам, он повернул ключ в двери и отворил ее. Потом протянул руку и включил свет. Ну да, там она и сидела, эта тварь – на том же месте, где он ее оставил. Угу, вон она, тварь с тяжелым взглядом, никуда не делась.

– Ну? – спросил он у девицы, тыча пальцем. Почти с гордостью.

– Что – ну? – отозвалась та.

– Что скажешь про это?

– Про что?

– Вот это, вот же, дура! Вот, прямо перед тобой! ЭТО!

– Знаешь, Сид, сдается мне, ты спятил.

– Не Сид я, и не говори мне, что ты его не видишь, сучка лживая!

– Здравсьте, пожалуйста, сам ведь сказал, что тебя зовут Сид, значит будешь Сидом, и нихрена я там не вижу, и если

хочешь перепихнуться, окей, а не хочешь, просто так и скажи, накатим еще по одной и делу конец!

Он завизжал, залепил ей оплеуху и вытолкнул за дверь.

– Вон пошла, шалава, чтоб я тебя больше не видел!

И она убралась, а он снова остался один на один с тварью, которую все это ни капельки не смутило: она сидела как ни в чем не бывало в ожидании заветной минуты, когда она сможет отцепиться от ткани реальности и вылететь на свободу.

Они вибрировали в каком-то нервном симбиозе, подпитывая друг друга. Он был весь покрыт тонкой пленкой страха и отчаяния, наполнен жуткой болью одиночества, которая как густой черный дым колыхалась внутри. Тварь дарила ему любовь, но получал он лишь рвущую сердце на части боль одиночества.

Он был один в этой комнате, но было их двое: он и эта бурая, глазающая на него угроза, воплощение его несчастья.

И вдруг он понял, что означал этот сон. Он понял, но не стал этим делиться ни с кем, ибо сны имеют смысл только для тех, кто их видит, ими нельзя поделиться. Он понял, кем были все те люди во сне, и он понял теперь, почему ни одного из них не убил простым выстрелом из пистолета. Он понял и нырнул в шкаф с одеждой, и нашел в нем старый вещмешок с армейскими шмотками, и нашарил тяжелый кусок холодного металла, лежавший на самом дне. Он понял, кто он, и, торжествуя, понял теперь абсолютно все: что это за тварь, и кто такая Жоржетта, и на что похожи лица всех женщин в

этом проклятом мире, и кто были все мужчины в этих проклятых снах, и что за мужчина вел ту машину, в которой он спасся (да, ключ-то именно в этом!), и он знал это все, и все это держал сейчас в своих руках.

Он вышел в ванную. Он не хотел, чтобы этот ублюдок в углу видел, что добился-таки своего. Он собирался наслаждаться этим без свидетелей. Он снова видел в зеркале самого себя. Он видел лицо, и это было хорошее лицо, сосредоточенное, и он смотрел на себя с улыбкой.

– Почему ты уходишь? – произнес он очень тихо.

Потом поднял кусок металла.

– Ни у кого, абсолютно ни у кого, – заметил он, держа тяжелый револьвер сорок пятого калибра у лица, – не хватило смелости выстрелить себе в глаз.

Он прижал дуло тяжелого револьвера к закрытому глазу, не прекращая говорить все тем же тихим голосом:

– В висок – это любой может. Те, у кого яйца из гранита, пускают пулю себе в рот. Но в глаз – не было еще таких, ни одного, – и потянул спусковой крючок. Так, как учили его в армии: плавно, одним ровным движением.

Из-за двери послышалось дыхание: тяжелое, низкое, ровное.

Панки и парни из Йеля

«Любовь – это просто слово “секс” с несколькими опечатками», – заявил он, уезжая раз и навсегда из Нью-Йорка. Он сказал это девице, с которой спал: младшему редактору отдела моды и красоты одного из глянцевого женских журналов. Он только что узнал, что она дешевая кокаинистка, но это, в общем-то, ничего не меняло, потому что он упаковал свою любовь в подарочную обертку и вручил ей, не прося взамен ничего, кроме возможности быть рядом.

И все же, когда он спросил ее в тот последний день, почему они занимались любовью всего раз (и это под непрерывное мяуканье подобранных ею уличных котят, которые гадили по всем углам и ползали по их сплетенным телам), она ответила: «Ну, я была под кайфом. По-другому я бы не терпела». И его стошнило. Даже на третьем десятке, после стольких темных дорог, ведущих в никуда, это причинило ему боль, просто разрушило в хлам, и он ушел от нее, ушел из ее квартиры, сказав на прощание: «Любовь – это просто слово “секс” с несколькими опечатками».

Не самая лучшая фраза для такого знаменитого писателя, как Сорокин. Но ему простительно. Год у него выдался паршивый. Поэтому он раз и навсегда уехал из Нью-Йорка, возобновив свои бесконечные поиски, вернулся в свою голливудскую студию и блаженно забылся. Зная, что не вернется

в Нью-Йорк никогда.

И вот, совсем в другое время, продолжая поиски кульминации той дурной шутки, в которую превратилась его жизнь, он снова оказался в Нью-Йорке.

Энди Сорокин вышел из лифта, хмурясь, будто шагнул из тени на слепящее солнце.

Слепящее, да.

Дело происходило на сорок втором этаже редакции «Маркиза», и самой ослепительной вещью в вестибюле была подборка подсвеченных слайдов с журнальных разворотов.

Слепящее.

Pêche flambee в «Форуме двенадцати Цезарей»; мордовороты в смокингах и галстуках-бабочках на премьере Джоан Сазерленд; благопристойные девицы – никакой синтетики, никаких крупных планов интимных мест; морская рыбалка с марлинами и красоткой, вынырывающей из белой пены с ошалелым взглядом; серия фотопортретов работы Юсуфа Карша: политик-расист из Луизианы с парой дебютанток; занос с разворотом «Мазератти» на Нюрнбургринге; Хемингуэй, Фитцджеральд, Дороти Паркер, Натаниэль Уэст и прочие, дебютировавшие в этом журнале; черный нос ретривера в высокой траве; два катамарана, идущих против ветра.

На самом деле Энди Сорокин хмурился не на свет. Он хмурился как человек, почувствовавший укол в сердце.

Незажженная сигарета угнездилась точно по центру его рта, и он жевал губчатый, почти размокший фильтр. Двери

лифта за его спиной со вздохом закрылись, и он остался в почти пустом вестибюле. Он стоял, сделав всего два шага по мягкому ковру, – человек, прислушивающийся к неслышным песням, запечатленным в камне. Симпатичная девица на ресепшне терпеливо ждала, пока он подойдет.

Так и не дождавшись, она поджала губу, потом прикусила ее, потом поморгала своими шикарными ресницами. Поскольку он не обращал на нее внимания, она подала голос:

– Да, могу я вам чем-либо помочь?

Сорокин вовсе не отключился. Он был здесь и сейчас, просто его оглушил почти патологический избыток в помещении, спроектированном со вкусом, его занимала подчеркнутая мужественность образа «Маркиза», словно увековеченная слайдами на стене, его забавляла предстоящая встреча, которая могла помочь ему обрести давно утраченную невинность, вновь вернув его на сцену, в прошлое, от которого он с такой радостью бежал семнадцать лет назад.

– Не уверен, – ответил он.

Ее глаза задернулись стальными жалюзи. День складывался отвратительно: поганый ленч, отсутствие таблеток вкупе со случившимся как всегда не вовремя Проклятием, а еще невозможность покурить с какими-нибудь умниками и их шуточками. В помещении как-то неприятно похолодало.

Сорокин понимал, что реплика прозвучала глупо. Но и смысла что-то менять он не видел.

– Мне к Уолтеру Верринджеру, – устало произнес он.

– Как вас представить? – ледяным тоном спросила она.

– Сорокин.

Вот тут до нее и дошло, что она облажалась.

«Ойбожежмой», – Сорокин! Верринджер и весь его отдел с утра бегали на цыпочках как новобранцы в казарме перед приездом инспектирующего генерала. Сорокин, титан! Вот он стоит перед ней и жует размокший фильтр, а она его едва не отфутболила. Одно слово, «ойбожежмой». И ведь уже не исправишь... Стоит ему хоть шепнуть кому-нибудь из издательской братии, всего лишь шепнуть, и ей придется забыть о возможности зажить отдельно от родителей и снова рыться в объявлениях о найме на работу...

Она сделала попытку улыбнуться и тут же прекратила это притворство. Его глаза. Такие темные, напряженные – словно туго набитые, с усилием застегнутые кошельки. Могла бы ведь и по глазам догадаться: Сорокин.

– Сюда, мистер Сорокин, – произнесла она, вставая и поправляя юбку на бедрах. На мгновение ей показалось, что все, возможно, и обойдется: он обратил внимание на ее тело. Поэтому она пошла по коридору перед ним, стараясь показать себя во всей красе.

– Мистер Верринджер и его сотрудники ждут вас, – сообщила она, оглянувшись на него через плечо так, чтобы копна светлых волос сдвинулась, открыв ее самый выгодный левый профиль.

– Спасибо, – устало отозвался он.

Коридор был длинный, пустой.

– Мне очень понравилась ваша книга, – сказала она, не сбавляя шага.

Он опубликовал четырнадцать романов, и она не сказала, какой именно, из чего следовало, что она не читала ни одного.

– Спасибо.

Она продолжала говорить, нести какую-то пургу, смысла в которой было не больше, чем в покашливании. А самое страшное во всем этом: с того мгновения, как Энди Сорокин вошел в вестибюль, и она подумала, что профукала все, он уже знал, что творилось у нее в голове. Он читал ее мысли в тот самый момент, когда они возникали. Потому что она ведь народ, а Энди Сорокин дока по части народа. Восприимчивость к чужим эмоциям – его проклятие, оно частенько доводило его до самого края, а то и дальше. Он знал, что она изобразила из себя ледяную суку, потом перепугалась, когда узнала, кто он, потом пыталась поправить все своим телом и штучками с волосами. Он знал все с начала до конца, потому и выглядит таким подваленным: он понял, что снова оказался прав. В очередной раз. Как всегда.

«Хоть бы раз они нашли, чем удивить меня», – думал он, шагая следом за ее ртом, ее словами, ее телом. Хотя больше думал о том, что скажет: «Вот он я, вернулся в Нью-Йорк, в самую сердцевину Большого Яблока после летнего солнцестояния в Эл-Эй (*где небо южное так сине*), и это возвра-

щение в мое прошлое, в детство. Грязный, дождливый, набитый под завязку так, что не продохнуть, а в подземке от тесноты и вовсе кричать хочется, и все равно это то место, откуда я вышел, приятно далекое от калифорнийского побережья. И плевать даже на то, что воротник у меня выглядит после одного проведенного здесь дня так, словно его выводок гусениц обосрал; плевать, что на улицах все как с цепи сорвались, только что не кусаются; плевать, что обслуживание в “Тегеране” пошло псу под хвост с тех пор, как Винсент ушел в “Шатобриан”, плевать, что беложопые заткнули рот Джимми Болдуину единственным доступным им способом: признав, обожествив, поглотив его, сделав его голосом своего народа» и, в конце концов, сведя с ума; плевать даже на то, что Олафа Бёргера из “Фосетт” богатство и положение в обществе превратили в зануду; к черту все придирки, блин, это же Нью-Йорк, средоточие всего, место, где все можно начать сначала, а я так чертовски долго проторчал в Калифорнии среди всех этих Микки-Маусов, хай бэби киска лапуля... и пусть я и изображал из себя время от времени этакого сесквипедалианистического Томаса Вулфа (да нет, не того Томаса Вулфа, а *настоящего* Томаса Вулфа), меня и самого удивило то, что я, оказывается, могу возвращаться домой, снова, и снова, и снова.

Потому что это только Нью-Йорк, только мой Манхэттен, где я учился ходить, где я узнал все, что знаю, место, которое ждет моего возвращения – как подруга детства, выросшая и

поднабравшаяся сексуального опыта, и все же сохранившая подростковое очарование. Черт, эк я завернул!

Сукин ты сын, я люблю тебя, Эн-Уай!»

Она все еще лопотала что-то на ходу, а вся эта длинная тирада промелькнула в его мозгу за какое-то мгновение до того, как они остановились перед дверью кабинета Уолтера Верринджера. Правда, завершилась она вот так:

«...и даже все сорок два этажа издательства, куда я приперся для встречи с влиятельным издателем, который не заплатил бы мне и пенни до того, как я отправился в Голливуд и прославился, а теперь предлагает мне руку, и ногу, и дрожащее бедро, и любую помощь и поддержку, дабы я вернулся в Ред Хук и запечатлел на бумаге свои впечатления по прошествии семнадцати лет: что сделалось за это время с детской преступностью. “Возвращение в банду подростков” – славный заголовок для прекрасного Нью-Йорка...»

Вкус отмщения сладок!

Мысли Эндрю Сорокина, автора романов-бестселлеров, голливудского сценариста – см. стр.146 справочника «Современные Авторы» (р. 27.05.1929, Буффало, шт. Нью-Йорк; вступил в шайку несовершеннолетних преступников в Ред Хуке, Бруклин, и провел в ней три месяца, собирая материал для своего первого романа «Дети из сточной канавы») – номинанта на «Оскар», в момент, когда он, пройдя мимо пышнобедрой девицы с ресепшна, переступал порог приемной кабинета Уолтера Верринджера, редактора журна-

ла «Маркиз»; мысли Эндрю Сорокина, если и не признанного пока пророком в своем отечестве, то уж, по крайней мере, принимаемого на «ура» сильными мира сего. Времена прошли, времена меняются, и Энди Сорокин вернулся.

– Фрэнсис, – официальным тоном обратилась девица с ресепшна к ухоженной и сонливой секретарше в приемной. – Мистер Сорокин.

Секретарша просветлела, а на нижней части ее лица даже обозначилось что-то вроде улыбки.

– Минуточку, мистер Сорокин, мистер Верринджер вас ждет, – она защелкала клавишами интеркома.

Девица с ресепшна изобразила ртом нечто чувственное и дотронулась до рукава Энди Сорокина.

– Очень приятно с вами познакомиться, мистер Сорокин. Он улыбнулся в ответ.

– Обязательно задержусь попрощаться с вами на обратном пути, – она сорвалась с крючка. Он сам отпустил ее, намеренно. Один из время от времени проявляемых им человеческих жестов: зачем заставлять девочку мучиться ожиданиями того, что он случайным замечанием лишит ее работы. Кроме того, это означало, что он попросит ее телефонный номер. Теперь же все, что ей осталось решить, будет ли она изображать из себя инженю и предоставит ему спрашивать самому или же сунет ему в руку бумажку с заранее написанными именем и номером, когда он будет возвращаться к лифту. Эта игра с возможными последствиями на редкость

увлекательна, и Энди Сорокин знал, что она будет забавлять ей себя все время до его возвращения. Она ушла, а он вернулся к секретарше, которая выходила из-за своего стола, чтобы проводить его в святая святых Уолтера Верринджера.

– Сюда, прошу вас, мистер Сорокин, – встав, она тоже оправила юбку на бедрах. Он обратил внимание на ее тело. Она пошла перед ним к двери в кабинет, стараясь показаться во всей красе.

«Ну хоть бы раз нашли, чем удивить», – подумал он.

Спустя сорок минут они так и не дошли до того, за чем Сорокин, собственно, пришел: контракта. Они говорили о творческой карьере Сорокина: от дешевых детективов и научной фантастики до романов, а потом и Голливуда с телевидением, киносценариев. О предстоящем вручении «Оскаров» и шансах Сорокина. О двух неудачных браках Сорокина, о его отношении к политике Голливуда, о стиле «Маркиза», о том, как глупо, что Сорокин ни разу еще не печатался в этом стильном ежемесячнике (однако же изящно обошли тему, давно глодавшую Сорокина изнутри: что «Маркиз» не считал его достойным публикации на своих стильных страницах, пока он не стал знаменитостью). Они обсудили женщин, Джи-Эф-Кея, который как раз занял Овальный кабинет, ненадежность литературных агентов, тенденции в издании литературы в мягких обложках – все, кроме контракта.

Как-то странновато, нет?

Верринджер смотрел на Сорокина поверх большой гол-

ландской кофейной кружки; его очки запотели от поднимавшегося пара. Он с наслаждением сделал глоток.

– Без кофе я труп, – сообщил он, сделал еще глоток в подтверждение своих слов и со стуком опустил кружку на лист промокашки. – Пью по десять – пятнадцать в день! Думаю, это мне еще аукнется, – ему нравилось изображать из себя портового грузчика, а не литературного льва. Амплуа Хемингуэя явно нравилось ему больше, чем амплуа Максвелла Перкинса. Насколько мог судить Сорокин, эту позу он принимал абсолютно со всеми. Другое дело, что на Сорокина это действовало с точностью до наоборот, поскольку он как раз и был тем, кем старался выглядеть Верринджер. («Чтоб ее, мою эмпатию», – подумал он. – «Воплощенное извращение!») В результате Сорокин занял позицию этакого Трумена Капоте: вялого, жеманного типа, сыплющего чисто женскими афоризмами и прочей подобной ерундой. Верринджер был готов уже зачислить Сорокина в гомосексуалисты (даже при том, что это заключение полностью противоречило всему, что он знал о писателе прежде), и охватившее его замешательство лишь забавляло Сорокина. Но не слишком.

– Конечно. Ладно, давайте-ка к делу, – Верринджер изобразил на лице суровую улыбку Виктора Маклаглена. Порывшись в груди рукописей, он извлек экземпляр первого сорокинского романа шестнадцатилетней давности в оригинальной суперобложке. «Дети из сточной канавы». Он держал его так, словно это был древний, готовый рассыпаться от вре-

мении манускрипт или, скажем, первое издание «Макбета», а не автобиографическое, пусть и заметно приукрашенное, изложение трех месяцев, на протяжении которых Энди Сорокин жил двойной жизнью – семнадцать лет назад, когда он, юный провинциал, полагал, что личный опыт способен заменить стиль или содержание книги. Три месяца с подростковой бандой, жизнь на вонючих улицах в поисках того, что ему нравилось называть «инсайдом».

Что ж, прошло семнадцать лет, и Верринджер хочет, чтобы он вернулся на те улицы. После армии, после Полы и Керри, после несчастного случая, после Голливуда, после семнадцати лет, которые дали ему так много, но и ободрали до нитки. Возвращайся, Сорокин. Если сможешь.

Верринджер снова изображал из себя мачо с волосатой грудью. Он потыкал в книгу пальцем.

– У того, кто это написал, чугунные яйца, Энди. Мне всегда так казалось.

– Зовите меня Панки, – брякнул Сорокин с мальчишеской улыбкой. – Так меня звали в шайке. Панки.

Верринджер сурово нахмурился. Если Сорокин урожденный безбашенный реалист школы Роберта Руарка, кой черт он так выкаблучивается?

– Эээ, Панки, ну да, конечно, – он пытался удержать ситуацию под контролем, но получалось так себе. Сорокин с трудом удержался, чтобы не хихикнуть. – Это же реальное погружение в тему, честный анализ, глубже, блин, не быва-

ет! – не очень уверенно добавил Верринджер.

Сорокин обиженно надул губы – ну прямо натуральный педик.

– Жаль, что эта штучка прошла по книжным магазинам почти незамеченной, – сказал он. – Она написана с целью изменить ход западной цивилизации, знаете ли.

Верринджер побледнел: «Что здесь, вообще, происходит?»

– Вы ведь это поняли, не так ли?

Верринджер тупо кивнул; похоже, он принимал этот треп за чистую монету. Он не знал, с чего вдруг чувствует себя так, будто падает вниз, как Алиса в кроличьей норе, но ощущение было именно таким.

– Ну... э... нам бы хотелось, нам хочется для «Маркиза»... таких же крепких яиц. Ну, то есть, такого же эмоционального взгляда, как вот в этой вещи.

Сорокин ощутил, как в животе набухает тугой ком: теперь или никогда.

– Правильно ли я понял: вы хотите, чтобы я вернулся в Ред Хук, в те самые места, о которых писал *тогда*, и написал о том, каково все *теперь*?

Верринджер с размаху стукнул кулаком по столу.

– Именно! Тогдашние подростки – что с ними случилось, где они сейчас? Сгинули в тюрьге, переженились, ушли в армию – прошло ведь семнадцать лет! И социальная среда. Чище ли стали дома? Реализуют ли проекты бюджетного строитель-

ства? Есть ли какой-то толк от Полицейской спортивной лиги? Что там сейчас с расовой напряженностью, не привело ли это к появлению детских банд нового типа? Ну, и тому подобное, в виде целостной картины.

– Вы хотите, чтобы я туда вернулся.

Верринджер уставился на него во все глаза.

– Ну да, именно этого мы и хотим. «Возвращение в детскую банду». Нечто из реальной жизни.

Напряжение, нараставшее в Сорокине, вдруг окрепло, сделавшись почти осязаемым. Вернуться туда. Вернуться семнадцать лет спустя.

– Мне было девятнадцать, когда я вступал в ту банду, – пробормотал Энди Сорокин, обращаясь, скорее, к самому себе. Верринджер продолжал тарашиться. Похоже, сидевший перед ним человек испытывал сильное потрясение.

– Теперь мне тридцать шесть. Я не знаю...

Верринджер кусал губы.

– Нас вполне устроило бы, если бы вы описали это... хотя бы поверхностно. Вы ведь не мальчик уже, Энди... мистер Соро...

– Но вам ведь не хотелось бы, чтобы все было примерно-приблизительно?

– Ну, не...

– Вы хотите получить это со всеми потрохами и яйцами, так?

– Ну... да... нам хоте...

– Хотите, чтобы я рассказал все как есть, не так ли? По всем правилам реализма, на сленге, которым изъясняются эти парни?

– Ну, да, это часть...

– Желаете, чтобы я выяснил, что случилось с теми ребятами, с которыми я тогда шатался и которые понятия не имели, что я изучал их как жуков в банке. Вы хотите, чтобы я вернулся туда семнадцать лет спустя и сказал: «Здравствуйте, я тот самый парень, что вас заложил, помните?» Вы этого хотите? По сути ведь этого, разве нет?

Теперь Верринджеру казалось (надо же, как изменился этот человек за какую-то минуту!), что Сорокин разъярен – испуган, но вне себя от гнева. «Что за чертовщина здесь происходит?»

– Ну, да, мы хотим правды, хотим инсайда, как вы это проделали в тот раз, но вовсе не хотим, чтобы вы рисковали жизнью. Мы не... черт, мы не «Конфиденшл» и не «Инквайерер»! Мы хотим...

– Вы хотите, чтобы я вернулся и позволил им пристукнуть меня!

Агрессия. Верринджер чуть отодвинулся от стола.

– Э... постойте, мы...

– Вы ждете от меня охренительного рассказа со всеми сопутствующими рисками, и вы хотите его прямо сейчас, верно, мистер Верринджер?

– Что с вами, Соро...

– Так вот, как же, черт возьми, вы ожидаете его от меня, если я не нырну туда, не погрузусь туда по самое по это, по ЯЙЦА, по УШИ, ЧЕРТ ПОДЕРИ! ВЫ, ЧЕРТОВ ТУПОЙ БЛЮСТИТЕЛЬ СРОКОВ, ВЫ!..

Верринджер отъехал на кресле назад, словно Сорокин мог перепрыгнуть через стол и задушить его. Глаза за линзами очков сделались большими-большими и увлажнились.

– С превеликим удовольствием, мистер Верринджер, – продолжал Сорокин мягко, совсем другим тоном. – Как скоро вы хотели бы его получить? И в каком объеме?

Уолтер Верринджер неверной рукой потянулся за своей кофейной кружкой.

Сорокин уже взялся за дверную ручку, когда дверь открылась, и в кабинет вошли двое молодых людей. Стоило ему увидеть их, подтянутых, выбритых до синевы, в почти одинаковых темно-синих костюмах, как он уже знал, что они вышли из правильных семей, научились танцевать в шесть, максимум в семь лет у мисс Блэшем или в одном из других лучших салонов, что первый раз попробовать «Наполеон» им разрешил папаша, ну, и что они почти наверняка закончили одну из лучших школ.

Тот, что слева, повыше, с шевелюрой соломенного цвета и искоркой в синих глазах, вошел в кабинет, небрежно сунув большие пальцы в декоративные кармашки жилета. Наверняка из Эндовера. Никак не иначе.

Второй чуть пониже, шести футов роста, в матовых, без

вульгарного блеска ботинках, с зачесанными на европейский манер назад каштановыми волосами, с глазами как у ящерицы, определенно закончил Чоат, ну да, разумеется.

– Уолтер, – начал Эндовер прямо с порога. – Мы сегодня прервемся пораньше. Собрались в «Алгонкуин» пропустить по парочке. Не хочешь с нами?

Тут он увидел Сорокина и потрясенно осекся.

Верринджер представил их друг другу: их имена вошли Сорокину в одно ухо и мгновенно вылетели из другого. Он и так знал, как их зовут.

– Где учились? – спросил он у них.

– Йель, – ответил Эндовер.

– Йель, – ответил Чоат.

– Зовите меня Панки, – сказал Энди Сорокин.

И они отправились в «Алгонкуин» пропустить по парочке.

Чоат поскреб пальцами по дну плошки. Ни соленых орешков, ни маленьких баранок, ни крендельков не осталось. Он ухватил плошку за край и брякнул ее об стол. Не лучшее поведение для «Алгонкуина».

– Суккуленты! – взревел Чоат.

Пришел официант и забрал плошку с видом няньки, вынужденной общаться с капризным бэбиком.

– Суккуленты, итить, – буркнул он себе под нос.

– Энди Пи... то бишь, Панки Сорокин. Господи, ну и сюрприз в овертайм, – выдохнул Эндовер, уставившись на Энди

в миллионный раз с тех пор, как они заняли столик. – Исполин, вы же чертов исполин, в натуре! Вы хоть сами это понимаете? И мы тут с вами за одним столом!

Верринджер уже два часа как ушел. Наступал вечер. Два парня из Йеля по имени Эндовер и Чоат набрались достаточно, чтобы вести себя игриво. Энди оставался трезв. Он старался, бог свидетель, как же он старался, но до сих пор остался трезв.

– Реальность, вот с чем вы имеете дело, – произнес один из двоих. Неважно, который именно. Оба – представители одной и той же культурной среды, и вещали одним и тем же языком.

– Верно. Жизнь. Вот вы знаете все, что нужно знать о жизни. И я не хочу сказать, что Люсели, хехехе... – он окончательно сбился с мысли и чуть не повалился на соседа. Чоат (или Эндовер, какая, к черту, разница) бесцеремонно отпихнул его.

– Ты, Роб, не ведаешь, что несешь. Вот это единственное, чего он нахрен не знает. Жизнь! Ее суть, ее сердечную ткань! Мы, вот даже мы, вышедшие из такой строгой среды, знаем ее лучше, чем Энди Пи Сорокин, сидящий за этим столом.

Второй парень из Йеля сердито выпрямился.

– Заткнись! Этот чувак исполин. Натуральный исполин, и он знает, говорю тебе. Все знает об изнанке жизни.

– Да он близко к ней не подходил.

– Он знает! Он все знает!

– Мошенник! Позер!

– Пошел прочь отсюда, ублюдок! Вот уж не знал, что ты такой нетерпимый криптофашист!

Сорокин сидел, слушал их, и страх, который он испытывал сегодня днем, когда Верринджер приговорил его к возвращению в Ред Хук, снова змеился по позвоночнику. Он сам приговорил себя к этому, правда же, приговорил целым рядом побуждений, вдаваться в которые ему не хотелось, но страх все равно вернулся. Как Чоат понял, что он мошенник? Как смог он открыть этот тайный страх, хоронившийся в глубине души Энди Сорокина?

– Что, гм... что заставило вас сказать, что я мошенник? – спросил он у Чоата. Лицо Чоата покраснело от выпитого, но он наставил на Сорокина мясистый палец.

– Мне вещают духи из другого мира.

Эндовер принял это за оскорбление. Он грубо толкнул Чоата.

– Пойдемвыем, ублюдок! Пйдемвым, крипто-пинко!

Однако Сорокин пытался достучаться до трезвой части его сознания.

– Нет, правда: что заставляет вас полагать, что я далек от реальности?

Чоат напустил на себя внешность педанта и утробным голосом произнес:

– Ваша первая книга, сборник небольших рассказов, помните, вы еще там Хемингуэя цитируете? Вы заявляли,

что это ваше кредо. Вот и фигня! Кой черт писать то, что уже написано до вас? Нет смысла писать, если вы не можете написать лучше прежнего. «В литературном творчестве вы ограничены тем, что уже хорошо сделано до вас. Поэтому я пытался найти что-нибудь еще». Я специально выучил. И это актуально. А остальное – говно!

– Социалист, ультраправый мазафака!

– Правда? Так с чего вы взяли, что я не знаю, о чем пишу?

Пока что я не вижу этому никаких подтверждений.

– А! – Чоат поднял палец и приложил его к носу – ни дать, ни взять Санта-Клаус, собирающийся лезть в дымоход. Ужасно заговорщический вид. – А! Но ваша пятая книга, опять-таки сборник рассказов, уже после вашего пребывания там, – он неопределенно махнул в западную сторону, – вы приводите там еще одну цитату. Помните? Ха, ну вспомните же!

Сорокин помолчал, припоминая точный текст, потом кивнул.

– «Отбросить то, что ты пережил, – значит положить конец своему собственному совершенствованию. Отречься от того, что ты пережил, – значит осквернить ложью уста своей собственной жизни. Это все равно что отречься от своей Души». – Оскар Уайльд. И какое отношение это имеет к вашему обвинению?

Чоат торжествовал.

– Страх. Отмазка! Ваше подсознание визжит как резаная

свинья. Кому, как не ему знать, что вы с самого начала вразли, а больше всего – в Голливуде. Знает, да? Так что теперь вам надо объявить об этом всему миру, чтобы вас больше в этом не обвиняли. Вы не знаете, что такое жизнь, что такое реальность, что такое истина, вы вообще ничего нихрена не знаете!

– Вот я щас надеру твою тухлую консервативную рожу!

Они подрались прямо за столом, оба слишком набравшись, чтобы причинить друг другу мало-мальски серьезный ущерб. Сорокин тем временем размышлял над тем, что сказал Чоат: «Возможно ли такое? Уж не пытается ли он безмолвно признать вину в невысказанных обвинениях?»

В раннем детстве он сделался мелким воришкой. Он крал всякие мелочи в лавке. Не потому, что не мог купить их по бедности, нет. Он хотел получить их бесплатно; в его странной детской картине мира это казалось правильным. Но он всегда испытывал искушение поиграть с новой, краденой игрушкой на глазах у родителей в тот же самый вечер. Чтобы они могли спросить его, откуда она взялась, а он бы рискнул тем, что они узнают о ее позорном происхождении. Если они не обратят особого внимания, она по праву останется его собственностью, а если добьются от него признания в том, что он ее украл, что ж, значит ему придется подвергнуться наказанию, которое заслужил.

Уж не было ли цитирование Уайльда, как и предположил Чоат, еще одной забавой с краденой игрушкой на глазах у

папочки с мамочкой, у мира, у его читателей?

Не было ли это проявлением того страха, который он тогда ощущал? Страх, что он утратил чутье, да и с самого начала постоянно терял его, и, возможно, не сможет восстановить?

– Так, ладно, покажу я вам изнанку жизни! Что вы на это скажете, мистер Панки? Хотите посмотреть изнанку жизни?

– Говорю тебе, болван, он это и без тебя знает!

– Ну, хотите, а?

– Для начала мне надо позвонить кое-куда. Отменить приглашение на обед, – он сидел, не двигаясь с места, и они с Чоатом смотрели друг на друга как два моржа, созерцающих безбрежность океана.

– Так как? Соглашайтесь или помалкивайте, – Чоату не терпелось доказать свою правоту.

– Заткнись, Терри, вот просто возьми и заткнись. Нельзя, чтобы над таким чуваком глумился маккартистский, неофашистский демагог вроде тебя! – по части питья Эндовер был по сравнению с Чоатом дитем малым.

Сорокин внутренне трепетал. Если кто и знал изнанку жизни, так это Энди Сорокин. В пятнадцать лет он сбежал из дому, в шестнадцать водил грузовик с динамитом в Северной Каролине, в семнадцать работал на нефтеперерабатывающем заводе в западном Техасе, в девятнадцать вступил в банду, а в двадцать напечатал свою первую книгу. Он стал свидетелем всех мало-мальски значимых явлений того времени – от сибаритского образа жизни мировой элиты до

безбашенных экспериментов с ЛСД калифорнийских хиппи. Ему всегда хотелось верить, что он – часть всего этого, что он не отстает от времени, от реальности, от множества разноцветных реальностей, какими бы опасными, дикими или непристойными они ни были.

И вопрос, стоявший сейчас перед ним, выглядел так: не превратилась ли вся эта жизнь в простой поиск развлечений, в *сплошную отмазку*? Он выбрался из-за стола и пошел звонить Олафу Бёргеру.

Когда он прорвался через соединения и помехи, в трубке, наконец, послышался хриплый как у лесоруба голос Бёргера:

– Ну?

– Сколько раз я тебе говорил: по телефону так не отвечают. Тебе полагалось сказать: «маса Бёга» в трубка, чем могу служить, бвана?»

– Объясни-ка мне, за какие такие грехи мой рабочий день то и дело прерывают всякие фанатики, реднеки и авторы дешевых книжек из богом проклятой провинции?

– Это потому, что у тебя ямочки на щеках как у милашки Ширли Темпл, а еще ты великий издатель дешевых книжек, и я поджарю тебя на медленном огне.

– Что у тебя на уме, придурок?

– Придется отказаться от обеда.

– Жаннин меня испепелит. Ради тебя она приготовила мусаку с баклажанами. А возня на протяжении всего дня с бараниной вряд ли способствует поднятию настроения. По

крайней мере, предложи мне оправдание.

– Два свежеиспеченных мажора из «Маркиза» хотят показать мне изнанку жизни.

– Это не оправдание, это просто курам на смех. Ты, должно быть, шутишь.

Сорокин помедлил с ответом. Пауза даже чуть затянулась.

– Мне надо сделать это, Олаф, – произнес он совсем другим, совершенно серьезным тоном. – Это важно.

В трубке тоже наступила тишина.

– Голос у тебя какой-то невеселый, Энди. Что-то случилось? Я тебя целых три месяца не видел – что-то снова тебя гложет?

Сорокин поцокал языком, подбирая слова. В конце концов он решил сказать все как есть.

– Я пытаюсь проверить, есть ли у меня еще яйца. Снова.

– В тысячный раз.

– Угу.

– И когда ты уймешься? Когда тебя укокошат?

– Поцелуй за меня Жаннин. С меня ужин во «Временах года», если этим можно искупить...

Пауза.

– Энди...

Еще одна бесконечная секунда.

– А?

– Ты слишком дорог для того чтива, что я редактирую, но есть много других, заинтересованных в тебе. Не облажайся.

– Угу.

Бёргер повесил трубку. Некоторое время Энди Сорокин не двигался с места, уставившись в обитую красным бархатом стену телефонной будки. Потом резко выдохнул и вернулся к сцене с полотна Хогарта.

Эндовер методично стучал по столу указательным пальцем.

– Вот увидишь, – повторял он как заведенный. – Вот увидишь, вот увидишь...

В то время, как Чоат, зачернивший щеки головками горелых спичек из пепельницы, хлопал руками как крыльями и точно так же монотонно каркал: «Невермор, невермор, невермор...»

Они протащили его по всем райским заведениям, которые он знал и без них. По всем местам, где он побывал в молодости, во вполне предсказуемых районах: по Нижнему Ист-сайду, по Виллидж, Испанскому Гарлему, Бедфорд-Стайвсанту.

И при этом распалялись все больше. Оба протрезвели. Холодный ночной воздух, ноябрьский снег, да и заведений, где можно было бы без проблем выпить, попадалось им немного. В общем, они протрезвели. Это превратилось в какую-то вендетту со стороны обоих парней из Йеля, не только Чоата. Теперь уже Эндовер был с ним заодно, и оба жаждали показать титану Сорокину что-то, чего он не видывал прежде.

Бары, еще бары и абсолютные дыры, где люди сидели, нашептывая в либидо друг друга. А потом вечеринка...

Звук обрушился на него Ниагарой размытых впечатлений, потоком не связанных друг с другом разговоров.

— ...Я подошел к Теду Бейтсу спросить насчет тех последних наместников, а Марви и говорит, кой черт я мотался за ними на Виргинские острова, и почему бы мне не заткнуться, а я говорю, типа, после того, как этот чертов псих-директор и его гребаная команда пытались, типа, с моей помощью спастись от мужеложества, мне было так муторно, что даже пары таких не хватило бы, чтобы возместить все эти идиотские беспорядочные сношения, а потом, если уж они притащили с собой шлюху, сами бы ей платили, а то я...

— ...Бла-бла-бла, чи-чи-чи, бла-бла-бла...

— ...Класс! Высший класс! В антракте все устроили, как в «Тысяче и одной ночи» — с официантками в таких прозрачных шароварах, а официантами в тюрбанах, и есть пришло, лежа на боку, и, честно говоря, есть, лежа на боку, чертовски трудно, почти так же трудно, как если бы еда лежала у тебя на боку, хи-хи, ей-богу, не знаю, как они это делали в те времена, но еда была высший класс, правда. Там был такой суп с лимоном, называется как-то вроде «куфте абур», и это к...

— ...Бдя-бу-бу-бу, бип-бип, чи-чи-чи...

— ...Это перечисление прерванных часов и бесперспективных отношений не заслуживает внимания, ибо в текущий

момент, в это конкретное мгновение бесконечного, бестелесного времени, в этот момент, в который я намерен кратко описать все, через что мне довелось пройти прежде со всей очевидностью обрисовывается само. И если не конкретно этот случай, то нечто обобщенное в ретроспективе, а также то, что имело место до этого, будет восприниматься как испаряющийся след подобных друг другу инцидентов вплоть до этого мгновения, и... БОГА РАДИ, Джинни, не ковыряй пальцем в носу...

– ...Бам-бам-бам, бздынь, динь, блям, хрюм, чи-чи-чи...

Формально это можно было бы назвать вечеринкой. Внешне это напоминало вечеринку, на которой слишком много людей собрались в слишком тесном пространстве – в грязном лофте на Джейн-стрит в Виллидже. Однако это было чуть больше, чем обычная вечеринка.

Имели место ритуальные танцы дружелюбно настроенных туземцев, как физические (иллюстрацией чего могло служить медленное, психосексуальное, на редкость неумелое скольжение Симоны и литературного агента ее мужа), так и эмоциональные (это когда Вагнер Коул беспощадно ободрал шкурку с поэтессы с выбеленными перекистью волосами, чьи восторги по поводу современной литературы явно повторяли обзоры в «Субботнем Ревю»), а также этнические (сводившиеся в основном к невинному трепу о том, кто, как и с кем в дальнем углу за каучуковым деревом). В общем, здесь собрались абсолютно все, потому что Флоренс

Магрэн праздновала свою днюху (уииии!), ну, чем не повод собраться вместе.

Энди Сорокин стоял у камина, держа свою «Маргариту» обеими руками, и разговаривал с бледнолицей девственницей, которую откопал и притащил ему Эндовер. Она выкладывала ему все, что думала о плохом фильме, снятом по одному из его последних романов.

– Я никогда не считала Кэрин безнадежно плохой, – говорила девственница. – А когда сняли фильм, мне просто не понравилось, как исполняет эту роль Лана Тёрнер.

Сорокин смотрел на нее и благосклонно кивал. Она была маленького роста, с могучим бюстом. Платье от Руди Гернрайха подпирало ее грудь, и улыбалась она губами, не скаля при этом зубы.

– Очень мило с вашей стороны говорить так; киноверсия вышла вообще не самой лучшей, хотя режиссура Франкенхаймера лично мне понравилась.

Она ответила в том же духе; в принципе, эту ерунду можно было даже не слушать. Подобные беседы он сносил иногда легко, а иногда нет – в зависимости от того, чего от них ждал. В данном случае он ждал возможности затащить маленькую пышногрудую девственницу в хозяйскую спальню и добивался этого со всем доступным ему обаянием.

Вокруг них, стоявших словно в оке урагана, уровень общей истерии заметно повысился. Флоренс Магрэн усадили на плечи Бернбах и Баркер (продюсеры мюзиклов, с успехом

продолжавших идти на Бродвее) и понесли по комнате под пение Рэя Чарльза; при этом ее юбка задралась едва ли не до пояса, а Бернбах и Баркер, перекрикивая музыку из колонок, исполняли сочиненные на ходу на редкость непристойные поздравительные куплеты на мелодию заглавной песни их последнего мюзикла. Внутри Сорокина все снова начало сжиматься. Похоже, это не изменится никогда, как бы ни менялись сами люди. Они несут все ту же чушь, совершают все те же лишние смыслы поступки, все так же выставляют себя идиотами. Ему хотелось либо по-быстрому трахнуть девственницу, либо уйти отсюда.

– Эй, – крикнул кто-то в другом конце комнаты. – Как насчет «Передай по кругу»?

Прежде, чем Энди успел двинуться к выходу, налетевший Эндовер сцапал девственницу, она в свою очередь ухватила его за рукав, и так, друг за другом, они ввалились в самую гущу всеобщего оживления.

«Передай по кругу». Все уже уселись, скрестив ноги, в круг – прямо на пол. Праздно-талантливые, праздно-богатые и праздно-скучающие не прекращали своих игр: имитации невинности, возвращения к приличиям, если не по сути, то хотя бы внешне. «Передай по кругу». Женщины сидели в тщательно рассчитанных беззаботных позах, словно не замечая выставленных напоказ белья и бледной плоти: маяков для странников, остававшихся здесь на ночь, дабы те не теряли из вида береговую линию и знали, что уютная гавань

открыта тем, кто потерялся и терпит нужду. Эдакие благотворительные ласки.

И начали играть в «Передай по кругу» – самую, наверное, легкую в мире игру.

Тони Морроу повернулся к сидевшей справа от него Айрис Пейн.

– Ты, – обратился к Айрис Тони, – худшая подстилка из всех, какие у меня были. Ты вообще не шевелишься. Просто лежишь и позволяешь парню, кем бы он ни был, тыкать в тебя. И всхлипываешь при этом. Блин, ну и поганая же ты подстилка.

Айрис Пейн повернулась к сидевшему справа от нее Гасу Даймонду.

– От тебя дурно пахнет, – сообщила Айрис Гасу. – У тебя вонючее дыхание. И ты всегда стоишь слишком близко, когда разговариваешь с кем-то. Абсолютный вонючка.

Гас Даймонд повернулся к сидевшему справа от него Биллу Гарднеру.

– Терпеть не могу ниггеров, а ты самый несносный ниггер из всех, с кем я знаком. Ты лишен чувства ритма, а когда мы играли в теннис на прошлой неделе, я увидел, что у тебя короче, чем у меня, так что держи руки подальше от Бетти, ниггер, если не хочешь, чтобы тебе глотку перерезали.

Билл Гарднер повернулся к сидевшей справа от него Кэти Дайнин.

– Ты всегда крадешь что-то на таких вечеринках. Как-то

раз стырила тридцать пять баксов из сумочки Бернис и смылась, а они вызвали копов, но так и не сообразили, что это сделала ты. Воровка!

И так по кругу, в порядке общей очереди. «Передай по кругу».

Энди Сорокин терпел сколько мог, потом встал и вышел. Эндовер и Чоат плелись за ним, тихие и до обидного трезвые.

– Вам не понравилось, – сказал Чоат, спускаясь за ним по лестнице.

– Мне не понравилось.

– Ну, это не такая уж и реальность.

Сорокин улыбнулся.

– Это даже не ее изнанка.

Чоат пожал плечами.

– Я старался.

– Как насчет «Круга девятого»? – спросил Эндовер.

Сорокин застыл на половине лестничного марша и полубернулся к нему.

– Что это?

Чоат заговорщически ухмыльнулся.

– Место такое. Кабак.

Сорокин молча кивнул, и они двинулись дальше.

И они отвели его в «Круг девятый» – место тусовки Виллиджа, примерно такое же, каким был «Чамли» во времена, когда Энди шатался по усталым улицам. Каким был «У Рен-

ци», куда можно было завалиться и почитать «Манчестер гардиан», свисавший на шнурке с деревянной вешалки, а то и уснуть на доске для нарезки сэндвичей, когда на комнату денег не хватало. Какими были многие места – норы для замерзших мальчишек, которым некуда было больше деться с уличных углов.

А Чоат и Эндовер снова рассвирепели.

Потому что стоило им ввалиться в шумный, тускло освещенный бар со зловещими плакатами боя быков на стенах и посыпанным опилками полом, как со стула, стоящего спинкой к стене, сорвался высокий костлявый мужчина и бросился к Сорокину.

– Энди! Энди Сорокин!

Это был Сид, Большой Сид, который водил туристический автобус по 46-ой улице и Бродвею в те времена, когда Энди Сорокин торговал порнухой в книжном магазине на Веселой белой улице. Худой как скелет Сид, входивший в узкий круг ранних пташек на Таймс-сквер, как и Энди.

Сид захлопотал вокруг Сорокина, потащив его за столик с компанией хорошеньких девиц и клеившихся к ним уса-тых пикаперов. Они пустились в воспоминания о славных временах до того, как Сорокин посоветовал своим боссам в книжном магазине сунуть порнуху себе в одно место и заявил, что он собирается писать. До того, как Сорокин начал продавать свои книги, ушел в армию, в первый раз женился, пробился в Голливуд. О славных временах до того как.

И двое парней из Йеля обозлились на Панки.

Они пришли сюда в надежде показать ему открытое, бьющееся сердце изнанки жизни, а он, оказывается, знаком с такими типами, о существовании которых они даже не догадывались. Ясное дело, это было донельзя досадно.

– И чем ты занят теперь? – спросил Энди у Сиды. Тот хлопнул его по плечу своей костлявой лапищей.

– Да так, ерундой всякой. Выпасаю пару шлюх, то там пару баксов сорву, то здесь, – Энди ухмылялся.

– А помнишь тот вечер, когда к нам в магазин завалилась такая цыпочка, и ей было невтерпеж, а Фредди Шмейгель начал ее подзуживать, и она задрала юбчонку до подбородка, а труселей-то на ней и не было...

– Каких еще труселей? – перебил его Сид.

– Я же говорю: никаких, – ухмылялся Энди.

– А, да, было дело. Расскажи, пусть парни поржут.

И Сорокин выдал историю про туристку из Шебойгана, и как они быстренько заперли входную дверь и опустили жалюзи, а она снова задрала юбку всем на загляденье. Она проделала это с полдюжины раз, прямо как игрушка которую за ниточку дергают: скажи ей «ап» – и юбка взмоет до ушей. И они отвели ее в соседний магазин грампластинок, и Фредди попросил ее повторить для тамошних парней, и она проделала это еще раз. И они отвели ее через квартал, в кладовую над театром «Виктория», и там она дала всем и каждому.

Сорокин и Сид посмеялись над воспоминанием, а Эндо-

вер обозлился почти так же, как Чоат. Поэтому они снова начали напиваться, пытаясь раззадорить себя так же, как в начале вечера. В конце концов Энди осточертел этот «Круг девятый», он предложил уйти, и Сид сунул ему карточку.

На ней было написано:

«ЛОТТА, звонить Сиду, 611, Восточная 101 ул.»

Еще там был телефонный номер, но его стерли, а поверх стертого написали шариковой ручкой другой. Сид положил неимоверно костлявую руку Сорокину на плечо.

– Это одна из моих девиц. Четырнадцать лет. Пуэрториканка, пухлая как черт-те что. Захочешь перепихнуться – звони, я обычно там. При доме. Как в старые времена, типа того.

Энди ухмыльнулся и сунул карту в карман пиджака из твида «от Харрис».

– Береги себя, Сид. Рад был повидаться, – и они ушли.

Двое парней из Йеля обрели теперь чертовски устремленный, почти фанатичный вид. Они найдут изнанку жизни, чтобы утереть нос этому хитрожопому титану Сорокину – даже если для этого придется обойти все до единого грязные мусорные баки Манхэттена.

Грязных мусорных баков в Манхэттене не счесть. Но они смогли посетить довольно много, пока уже ближе к утру не ввалились, наконец, почти мертвецки пьяные – теперь уже все трое – в бар «Собачья конура»: полную неопишуемой пустоты дыру в глубине Бауэри.

Сорокин сидел напротив парней из Йеля. Лицо Чоата снова покрылось розовыми пятнами. На Эндовера напало игривое настроение.

– Панки, киса, – повторял Эндовер с дурацкой ухмылкой.

– Любимч...ик! – осклабился Чоат. Угрюмому напряжению, таившемуся под самой поверхностью, хватило бы легчайшего дуновения ветерка, шороха листвы, поданой шепотом команды, чтобы прорваться наружу.

– Отмазка, – пробормотал он и вдруг судорожно вздохнул. Лицо его побагровело. – Меня сейчас стошнит, – сообщил он.

– Реплика словно из скверного рассказа, напечатанного в «Нью-Йоркере», – заметил Эндовер, старательно выговаривая слова. – Если бы рассказ был в «Плейбое», ты бы сказал «сблюю», потому что это слово из реальности, в нем дохрена реальности, да? А если бы все происходило в рассказе из «Кеньон ревю», ты бы сказал «метать харч», потому что за этим стоит история, корни так сказать. А в рассказе из «Эсквайра» ты бы сказал «проплююсь», потому что эти ребята пытаются убедить всех, что говорят точно как отличники в колледже. А если бы ты попал в «Нейшнл джиографик»...

Чоат бочком сполз со стула и принялся выбираться из-за стола.

– Ыгхх, – издал он влажный звук. – Ту...алет?

Энди поднялся помочь ему.

Придерживая Чоата одной рукой за талию, а второй под локоть, он дотащил его через набитый людьми, насквозь прокуренный бар к облезлой двери с табличкой «М». Только тут до Сорокина дошло, насколько мрачное, даже зловещее место этот бар «Собачья конура».

В дальнем углу сидела троица в черном; все трое так низко склонились над столом, что касались головами друг друга и казались теперь единой черной желеобразной массой. Из этого желе до Сорокина доносились шипящими призраками обрывки фраз: «Чувак, меня щас попрет... во, вставило...»

Старые торчки.

Прямо за музыкальным автоматом (в данный момент устало молчащим в ожидании, когда кто-нибудь кинет в него монетку, чтобы он мог оплатить за нее дребезжащим звуком) царил полумрак, в котором занимались чем-то неудобным мужчина с женщиной: женщина ерзала у мужчины на коленях.

Все столики были заняты. Группы мужчин в плотных свитерах, все еще напитанных царившим за засиженными мухами окнами ноябрем. Грузчики, кессонщики, матросы с торговых судов, водители ночных грузовиков, компания китайцев с Мотт-стрит, женщины с широкими бедрами, сгрудившиеся вокруг мужчины с колодой карт таро – ни одного чистого лица. В зале воняло свиарником. Собственно, этот запах подобно букету складывался из многих отдельных миазмов: сначала ощущался запах чеснока, потом пота, потом

мочи, а уже на все на это накладывались запахи сигаретного и трубочного дыма, сквозь которые время от времени пробивался кислый запах дешевой травки, в которую понапихали слишком много семян и соломы, чтобы заторчать понастоящему. И темнота. Неясные тени двигались здесь и там как планктон в илистой морской воде.

Жужжание голосов – убаюкивающее; ни шутки, ни смешка, ни хотя бы хихиканья. Заменой этому служили утробные звуки, словно кто-то тужился на толчке, но на деле – щупали под столом женщину. Место для завязывания отношений.

Слово «безнравственный» сюда не подходило. В таком месте совершенно естественно валяться пьяным на полу у стены, среди штабелей ящиков кока-колы, с открытыми, но ничего не видящими глазами, с руками в грязи неизвестного происхождения, в одежде, давно потерявшей форму и цвет. Обезличенный, безнадежно спившийся объект – в полиции такое называют «разжижением мозгов». Слово «пьяный» подходило к нему не более, чем «безнравственный». То, что видел Сорокин, волоча Чоата к дверям туалета, являло собой крайнюю степень падения.

Он видел мир без прикрас, и это относилось и к нему самому. Мир, не затронутый амбициями, или историей, или социальными условностями. Он видел жизнь с ее истинной стороны, какой не видел ее уже много лет. Он видел, храни его Господь, самую что ни на есть изнанку жизни.

У барной стойки тоже было не протолкнуться, что нагляд-

но отражалось в мутном, с потеками зеркале за стойкой. Локоть к локтю в ожидании комендантского часа, то бишь закрытия, опрокидывая стопку за стопкой, не размениваясь на разговоры, стараясь закинуть в нутро как можно больше, пока ночь не заграбастает их и не вышвырнет в полный одиночества мир.

К Сорокину подошел негр, негр с тяжелым лицом, слежавшейся рыжеватой шевелюрой и налитыми кровью глазами, с лицом, лишенным выражения, если не считать хитроватой усталости. В руке он держал две игральные кости из красного пластика.

– Собрались парочкой в сортир, чуваки? У нас тут компашка, в кости сыграть не хотите, а? – рука его словно невзначай легла Сорокину на ягодицу. Сорокин застыл.

– Сдрисни, – как мог жестко произнес он.

«Пидор дешевый», – подумал он, и его замутило. Из всех мерзостей, подаренных беложопыми черным, гомосексуализм гнуснее всего.

Черный мужчина убрал руку, буркнул короткое ругательство и отошел. От него разило дезодорантом и женскими духами. Краем глаза увидел, как тот подсел к другому негру. Он не сомневался: оба обсуждают сейчас несговорчивого беложопого мазафаку у дверей туалета.

В эту минуту Сорокин испытывал удовлетворение. Он, наконец, понял – окончательно и бесповоротно – что повзрослел. Позднее созревание, погоня за мужественностью – все

это прошло и осталось позади. Он увидел все, что стоило увидеть, и все, что он делал, покинув эту среду – это обретал ответственность. Взрослеть – значит находиться там, где хочешь находиться, относясь при этом к жизни ответственно. Он вдруг обрел целостность. И свободу.

Он толкнул дверь и затащил Чоата в грязный туалет.

Стоило им оказаться среди белого кафеля, как Чоат вырвался и рухнул на колени перед писсуаром. Его начало рвать; звуков, издаваемых его желудочным трактом, можно было бы ожидать от носорога. Сорокин отошел от него, только сейчас осознав, что его мочевой пузырь тоже требует опорожнения. Он зашел в кабинку, отпустив качающуюся дверь, и расстегнул ширинку.

Он начал мочиться, продолжая размышлять о произошедшей в нем перемене, поэтому почти не обратил внимания на скрип открывающейся двери и шарканье ног по плитке. Потом послышался тяжелый удар по чему-то податливому, сопровождавшийся коротким оханьем от боли.

Не прекращая мочиться, Сорокин приоткрыл дверь кабинки и выглянул.

Двое негров – те самые, из бара – трудились над Чоатом. Один оглушил Чоата, ударив его чуть ниже уха белым теннисным носком, набитым мелкими монетами, и Чоат, по шее которого струилась кровь, нырнул головой в писсуар. Второй тянул из кармана Чоата кошелек.

Сорокин не размышлял. Начни он думать, он никогда не

сделал бы этого.

Низко опустив голову, он вырвался из кабинки и с разбега врезался в негра с носком, полным мелочи. Того самого, с красными пластиковыми костями. Он ударил его головой в грудь, одновременно с силой толкнув руками. Негр отлетел от удара назад и со стуком закрываемой автомобильной дверцы врезался головой в белый кафель, после чего с закрытыми глазами сполз по стене на пол.

Сорокин развернулся – как раз вовремя, чтобы увидеть, как в руке у второго негра блеснула холодной сталью опасная бритва. Тот сделал плавный взмах от плеча – как хороший теннисист – ракеткой. Бритва негромко свистнула в воздухе.

Черный мужчина полоснул Сорокина по животу, и Сорокин ощутил не более, чем легкий порез тонким листом бумаги. Он ринулся вперед, в движении продолжая разворачиваться от первого негра, неподвижно лежавшего на белом кафеле. Все, что вдолбили в Сорокина в армии, все, чему научил его болезненный опыт потасовок времен бурной молодости – все это слилось в чисто рефлекторных движениях. (Раз научившись плавать, вы никогда уже не разучитесь. Раз научившись ездить на велосипеде, вы никогда не разучитесь. Вы не разучитесь овладевать женщиной. Не разучитесь убивать.)

Он ударил негра в нос ребром ладони – снизу вверх. Голова у того дернулась, словно на веревочке, и он пронзительно завизжал высоким, бабьим голосом. Колени его подогну-

лись, руки бессильно свесились по бокам. Опасная бритва вылетела у него из руки и лязгнула о кафель где-то в углу, под раковиной. Черный мужчина начал падать лицом вперед, и Сорокин поразился, сколько крови хлещет у того из рта, стекая по подбородку. Целый ручей, нет, река, словно дамбу прорвало.

Негр мешком повалился рядом с Сорокиным. Пустой, холодный, тяжелый. Он рухнул на лицо и лежал неподвижно, только кровь растекалась лужей по белому кафелю. Что-то вывалилось из его жилетного кармана и покатилося в сторону.

Сорокин знал, что негр мертв. Этот точно, второй – возможно. Надо было убираться оттуда. Он посмотрел вниз: бритва взрезала его пиджак из твида «от Харрис», его рубашку, его майку и верхние слои мягкой ткани у него на животе. Он истекал кровью, набухавшей по всей длине пореза – прямого, чистого, до ужаса аккуратного. Он коснулся его пальцами, и в голове словно взорвалась бомба. Глаза его расширились, и он произнес что-то, сам не поняв, чего именно.

Предмет, выпавший из жилета лежавшего ничком негра, оказался игровой костью – одной из тех двух. На этот раз выпала двойка. Два маленьких белых глаза на поверхности красного кубика.

Чоат продолжал кашлять и плевать. Соркин ухватил его за ворот пиджака, выдернул из писсуара и вытащил из туалета. За спиной его никто не пошевелился. Вся резня продолжа-

лась меньше минуты. Или час. Или вечность.

Они вдвоем вывалились из туалета, и Сорокин вдруг сообразил, что у него до сих пор расстегнута ширинка. Он торопливо убрал срам и застегнул штаны. Чоата пришлось почти нести.

Эндовер тем временем флиртовал, делая непристойные жесты толстой телке с крашеными хной волосами, висевшей на плече здорового докера за соседним столиком. Господи, подумал Сорокин, эти двое точно меня угробят.

Он выудил из кармана десятидолларовую бумажку и бросил ее на стол. Потом ухватил Эндовера и выдернул его из-за стола прежде, чем телка ответила на его заигрывания.

– Принеси плащи, – рявкнул он.

Эндовер послушно принес плащи, и все трое (теперь Сорокину пришлось тащить уже обоих пьяных парней из Йеля) вывалились из «Собачьей Конуры». Панки не терпелось убраться как можно дальше от сцены в сортире.

Ибо, вероятнее всего, там, на грязном белом кафеле валялась смерть. Окончательная отмазка.

Улицы в четыре часа этого ноябрьского утра были холодны и пусты.

Кровь не останавливалась. Он снял с себя майку и перевязал ей живот, но это не помогло. Майка просто сделалась коричневого цвета от засыхающей крови.

Он не чувствовал под собой ног, но все же продолжал идти, волоча за собой двух оболтусов – кукла, обреченная двигаться.

ся даже после того, как кукловод умер. Невероятный концепт: кукловод мертв, но куклы двигаются – и даже ваги шевелятся в мертвых руках. И сок папайи: сладкий, прохладный, млечный. Когда-то давным-давно он зарыл в землю за родительским гаражом оловянного солдатика. В городе, где он родился. Надо бы вернуться и откопать его. Когда свисток прогудит. Или раньше. Если сможет.

Парни из Йеля были пьяны до бесчувствия. Они гоготали, и несли чушь, и послушно шли туда, куда их вел Панки, то есть, никуда. Они шли по нью-йоркским улицам, утопая в свежевыпавшем снегу. Он был в шоке, но не понимал этого. Парни из Йеля, похоже, не находили кровоточащий разрез поперек живота Панки смешным, но не говорили об этом, так что, возможно, не стоило и беспокоиться.

Тяжелый твидовый пиджак (совсем новый пиджак, он только вчера купил его у «Джека Брейдбарта» на Шестой авеню!) – вот что спасло ему жизнь. Он погасил большую часть энергии того горизонтального свистящего удара. Опасной бритвой. Чистой, верной, смертоносной, изготовленной для убийства, а не бритья.

Там, позади, в том сортире. Когда вы бьете человека по носу снизу вверх, вы ломаете ему переносицу, загоняя осколки хрящей и костей в мозг. Это мгновенная смерть. Человек падает наземь как мешок, как тот негр падал мимо Панки – так, что вам придется шагнуть вбок, пропуская его. Как тореро, нанеший смертельный удар. Там, позади, в том сор-

тире.

И они шли по холодным, ледяным, пустым, наполненным визгом улицам.

Панки сунул руки в карманы. Ему было холодно, очень холодно. Он нащупал кусок картона и достал его. На нем было написано: «ЛОТТА, звонить Сиду, 611, Восточная 101 ул.».

Панки крикнул, останавливая такси. Он кричал, и кричал, и кричал, и голос его поднимался спиралью вдоль фасадов превратившихся в сосульки зданий Манхэттена, где его порезали, куда он так поздно пришел в поисках зрелости, и нашел ее, и теперь капал кровью на белый снег Манхэттена, который всегда принимал его обратно.

Потом было такси и долгая поездка в пригород, и Сид, отворивший дверь квартиры, и шикарная черноволосая цыпа из Пуэрто-Рико, которая сказала, что ее зовут Лотта, и что ей только четырнадцать, но если кто хочет клево пихнуться...

Дальше время текло, словно в дымке. Парней из Йеля обслужили, и они спали на двух из четырех кроватях, имевшихся в квартире. И Сид тоже воспользовался предлагаемым им товаром и, предварительно ширнувшись, спал на третьей кровати, а Панки Сорокин, что уже полный взрыв мозга, сидел в 5:30 серого ноябрьского утра за кухонным столом в квартире четырнадцатилетней пуэртоториканской шлюхи по имени Лотта и играл с ней в джин-рамми.

– Нок на шестерку, – он улыбнулся как мальчишка, и кровь пошла сильнее.

Она обслужила троих остальных и вернулась к нему.

– Ну, ты следующий. Готов пихнуться?

Он улыбнулся в ответ на ее дружескую готовность, абсолютно отрешенный от окружающего мира, и осторожно до-
тронулся до кровоточащего живота.

– Видишь ли, у меня кровь идет, – сказал он как о чем-то само собой разумеющемся.

Она опустила взгляд на его живот, и они вдвоем внимательно осмотрели рану. Она сказала что-то хорошее, и он поблагодарил ее. Однако пихнуться он не хотел. Но, спросил он, не сыграет ли она в джин-рамми?

– Нок или джин? – спросила она.

Так они сидели и играли за покрытым клеенкой кухонным столом. Ему нравилась Лотта. Славная девочка, и чертовски привлекательная. С классными темными волосами, с такой интригующей прической.

Так продолжалось довольно долго, чуть ли не бесконечно, они сидели, играли в карты и улыбались друг другу. До тех пор, пока Панки не решил поделиться с ней тем, что он узнал этой ночью и что было у него на сердце.

Она вежливо слушала его, не перебивая. И вот что сказал ей Панки Сорокин:

– Ты видишь перед собой человека, изъеденного червями. Завистью, страстями, каких большинство людей даже представить себе не могут; похотью, кучей безымянных вещей, которых я жажду. Найти себе место где-нибудь, высказать

все, что я имею сказать, пока не умер, пока не иссякнет отведенное мне время. Все это сочтется из подушечек моих пальцев как кровь. Вот ты, ты сидишь здесь, ты живешь от одного дня к другому – ты спишь, встаешь, ешь, делаешь всякие дела. А я... для меня каждая мелочь должна быть больше прежней, каждая книжка лучше. И все богатства, все женщины, все, чего я хочу, но не могу добиться, все это меня мучает. И даже когда я нахожу золото, когда кончаю рассказ, когда кончаю делать фильм – это все равно не то, чего я хотел, потому что я хочу большего, лучшего, идеального. Ну, не знаю. Я ищу везде, по всему миру, я хожу через дома словно в поисках чего-то, что ждет меня. Все, чего я хочу – это делать! В лучшей своей форме, в самом быстром темпе, на который я способен. Бегом. Бегом, пока я не упаду. Боже, не дай мне умереть, пока я не выиграл.

Лотта, четырнадцатилетняя пуэрториканская проститутка, смотрела на него поверх карт. Она сидела, положив руку на помещенные рубашкой вверх на пахнущую едой клеенку карты, и не очень понимала, о чем он распинается.

– Хошь банку пива, а?

И в этом была вся нежность, вся забота, какие только знал Энди-Панки за всю свою жизнь. Вся сладость, все тепло кого-то, кому не все равно. Он заплакал. Это зародилось где-то в самой его глубине, нарастало и прорвалось наружу мучительными всхлипами. Он опустил голову на руки, все еще перепачканные не желающей останавливаться кровью.

Он сдавленно всхлипывал, и девушка пожала плечами. Она включила радио.

– *Vaya!* – взывала какая-то группа латинос.

Потом были улицы, и он – теперь уже один. Панки потерял своих парней из Йеля. Они показали ему изнанку жизни. Улицы, по которым он шел. В шесть утра в Нью-Йорке. И он видел вещи. Он увидел десять вещей.

Увидел таксиста, спящего на переднем сидении.

Увидел продавца сладостей, открывающего свою лавку.

Увидел пса, задиравшего лапу на пожарный гидрант.

Увидел ребенка в переулке.

Увидел солнце, которого не было видно за снегопадом.

Увидел старого, усталого негра, собиравшего сложенные картонные ящики за продуктовым магазином, и сказал ему: «Прости, старик».

Увидел магазин игрушек и улыбнулся.

Увидел яркие разноцветные круги в глазах, которые крутились как бешеные, пока он не упал.

Увидел под собой собственные ноги, которые шагали левой-правой-левой, правой, левой.

Увидел боль в животе, багровую, резкую и отвратительную.

Но потом он каким-то образом оказался в Виллидж, напротив дома Олафа Бёргера, и он насвистел какую-то мелодию, и подумал, что почему бы не зайти, не помахать ручкой. Было полседьмого.

И он поднялся и некоторое время стоял, глядя на дверь. Он посвистел еще. Это было славно.

Панки нажал кнопку звонка. Никто не отозвался. Он ждал, черт его знает как долго, наполовину заснувший, привалившись к косяку. Потом он нажал на кнопку еще раз и не отпускал. Из-за двери слышался далекий, приглушенный, похожий на кузнечика стрекот звонка. Потом кто-то вскрикнул. Потом босые ноги зашлепали по полу, приближаясь к двери. Дверь приоткрылась, удерживаемая цепочкой. В щель на него глядело заспанное, слегка перекошенное злостью лицо Олафа.

– Кой черт тебе нужно в такое...

Он осекся. Глаза его округлились при виде крови. Дверь закрылась, звякнула цепочка, и дверь открылась снова.

Олаф смотрел на него; судя по его виду, его слегка мутило.

– Господи, Энди, что с тобой!

– Я на... нашел то, ч-чего искал...

Они беспомощно смотрели друг на друга.

Панки мягко улыбнулся.

– Я ранен, Олаф, – пробормотал он. – Помоги мне... – и боком повалился в дверь.

Потерялся и нашелся. Блудный сын вернулся. Ночь, пробуждение. После такой длинной ночи – вновь пробуждение. Мойры: Клото, Лахесис, Атропос. Атропос несгибаемая. Та, что своими ножницами режет нить человеческой жизни, которую прядет Клото и отмеряет Лахесис.

Спряденную Панки и его парнями из Йеля. Отмеренную четырнадцатилетней пуэрториканской шлюхой по имени Лотта в берлоге с четырьмя кроватями в Гарлеме. Обрезанную чернокожим гомосексуалистом в баре «Собачья конура» в Бауэри.

Больничная белизна, больничный свет и кровь, кровяная плазма, стекающая из капельницы, и перед концом, перед самым концом Панки очнулся на время, достаточное для того, чтобы произнести, вполне отчетливо: «Бежать, пожалуйста... бежать...» – и ушел прочь отсюда.

Доктор, стоявший справа от Панки, повернулся к медсестре, стоявшей справа от него.

– Отмучился, – сказал он.

Передай по кругу.

Молитва за того, кто не враг никому

– Так ты ей засадил? – он врубил приемник. «Сьюпримз» пели «*Baby Love*».

– Не твоего грязного ума дело, чувак. Джентльмены о таком не говорят, – второй выудил из пачки третью пластинку «Джуси Фрут» и, согнув ее пополам, сунул в рот. Сладкий сок на мгновение наполнил рот и почти сразу же рассосался в слюне, собравшейся под левой щекой.

– Джентльмены? Блин, детка, ты, конечно, крут, но до джентльмена тебе... – он щелкнул пальцами.

– Ты аккумулятор проверил, как я сказал?

Он покрутил настройку и остановился на «Роллингах», исполнявших «*Satisfaction*».

– Я гонял ее к Крэнстону – они сказали, все дело в прерывателе. Двадцать семь баксов.

– Аккумулятор.

– Господи, чувак, чинил бы сам. Я передаю то, что сказал Крэнстон. Он сказал, все дело в прерывателе, так при чем здесь твой аккумулятор?

– Расческу дай?

– Свою носи с собой. Ты лишний.

– Пошел в жопу. Дай же расческу, блин!

Он достал из кармана алюминиевую расческу и протянул второму. Зубья у расчески были разной длины, как в парик-

махерской. На мгновение он перестал жевать, пока второй несколькими привычными движениями провел серой расческой по длинным каштановым волосам. Он расчесал волосы и вернул расческу.

– Хочу заскочить в «Биг бой», перехватить чего-нибудь. Ты как?

– А бак зальешь?

– Ну, губу раскатал.

– Не, не хочу я в «Биг бой». Катаешься там дурак-дураком по кругу как те краснокожие при Литтл-Бигхорне, и все ради того, чтобы проверить, там ли твоя зазноба с пышной жопой.

– А ты куда хочешь?

– В «Биг бой», чтоб его, не хочу... крутиться там как генерал Кастер. Точно не хочу.

– Это я усек. По кругу и по кругу. Смешно. Знаешь, умник, тебе самое место в Голливуде. Ладно, так куда ты хочешь?

– Видел, что в «Коронет» идет?

– Ну, не видел, а что?

– Кино про евреев в Палестине.

– А кто играет?

– А черт его знает. Пол Ньюмен, кажись.

– В Израиле.

– Ну, в Израиле. Так видел?

– Нет. Хочешь сходить?

– Можно. Все равно ничего другого нет.

- Твоя мамаша во сколько возвращается?
- Забирает отца с работы в семь.
- Ты не ответил.
- В районе полвосьмого.
- Ну, давай. Деньги есть?
- На один билет.
- Господи, ну и дешевка же ты. Я думал, я тебе друг.
- Пиявка ты, а не друг.
- Радио выруби.
- Я его с собой возьму.
- Ты так и не сказал, трахнул ты Донну или нет, а?
- Не твое вонючее дело. Ты же не говоришь, трахаешься ты с Патти или нет?
- Забей. Аккумулятор не забудь проверить.
- Пошли, на сеанс опоздаем.

И они пошли смотреть фильм про евреев. Тот, который, как ожидалось, много чего может рассказать им о евреях. Оба были гоями, поэтому не могли предположить того, что фильм про евреев не рассказывал про евреев ничего. Ни в Палестине, ни в Израиле, ни где бы то ни было еще из мест, где живут евреи.

Да и фильм-то был так себе, но денег на рекламу не пожалели, так что сборы за первые три дня проката вышли многообещающими. Детройт. Город, где делают автомобили. Город, где процветает в покое и святости церковь Маленького Цветка отца Кофлина. Население около двух миллионов: хо-

рошие, крепкие люди крестьянской породы. Отсюда вышло немало замечательных джазистов, начинавших в маленьких придорожных кафе. А еще здесь, в доме Голубого Света, подают лучшие в мире жареные ребрышки. Детройт. Славный городок.

На фильм собралось довольно много членов местной еврейской общины, и хотя все, кто побывал в Израиле или имел хотя бы приблизительное представление о том, как организован кибуц, посмеялись бы над тем, что происходило на экране, но эмоциональный настрой не оставил зрителей равнодушными. С характерным голливудским задором фильм подстегивал национальную гордость, словно выводя большими буквами: «Смотрите-ка, у этих мелких жидов оказывается тоже стальные яйца: они могут сражаться, если придется!» В общем, фильм был снят в лучшей невинной традиции экранного размахивания флагом. Его рекомендовал к просмотру журнал для родителей, а «Фотоплей» так и вовсе присудил ему золотую медаль в категории семейного кино.

Очередь к кассе тянулась мимо кондитерской лавки с витриной, полной попкорна полудюжины разных вкусов, мимо прачечной самообслуживания, заворачивала за угол и кончалась где-то ближе к другому концу квартала.

Люди в очереди стояли тихо. В очередях всегда стоят тихо. Арчи и Фрэнк тоже стояли тихо. Они ждали: Арчи слушал свой транзистор, а Фрэнк – Фрэнк Амато – курил, пере-

минаясь с ноги на ногу.

Никто не обращал внимания на шум моторов, пока три «Фольксвагена», взвизгнув тормозами, не остановились прямо перед входом в кинотеатр. На них стали оглядываться только тогда, когда захлопали, открываясь, дверцы, и из машин высыпала орава парней. Все до одного были в черном. Черные водолазки, черные брюки, черные ботинки как у «Битлз». Единственными яркими пятнами на них выделялись желто-черные повязки на руках. Точнее желтые повязки с черной свастикой.

Повинуясь отрывистым командам стройного паренька нордической внешности с очень ясными серыми глазами, они принялись пикетировать у входа в кинотеатр с плакатами, явно вышедшими из-под ручного печатного станка. Плакаты гласили:

ЭТО КИНО СНЯТО КОММУНИСТАМИ!

БОЙКОТИРУЙТЕ ЕГО!

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ОТКУДА ПРИШЛИ!

ХВАТИТ НАСИЛОВАТЬ АМЕРИКУ!

**НАСТОЯЩИХ АМЕРИКАНЦЕВ НЕ ОБМАНЕШЬ
ВАШЕЙ ЛОЖЬЮ!**

ЭТОТ ФИЛЬМ РАСТЛЕВАЕТ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

БОЙКОТИРУЙТЕ ЕГО!

При этом они не прекращали скандировать: «Вонючие христопродавцы! Вонючие христопродавцы! Вонючие христопродавцы!».

В очереди стояла шестидесятилетняя женщина по имени Лилиан Гольдбош.

Ее муж Мартин, ее старший сын Шимон и ее младший сын Абрам сгорели в печах нацистского концлагеря Берген-Бельзен. После пяти лет скитаний по разрушенной войной Европе она приплыла из Ливерпуля в Америку с шестьюстами другими беженцами на судне, предназначенном для перевозки скота. В Америке она получила гражданство и даже смогла приобрести магазинчик хозяйственных товаров, но реакция ее при виде ненавистной свастики была такой же, как у любой еврейки, избежавшей смерти только для того, чтобы обрести одиночество в новом мире. Лилиан Гольдбош, широко раскрыв глаза, смотрела на них, запленивших тротуар, захлебнувшихся своим воинственным фанатизмом – и к ней мгновенно вернулись (хотя на деле и не исчезали) страх, ненависть, гнев. Словно сломанные, идущие в обратную сторону часы, рассудок ее мигом перенесся на много лет назад, и ее усталые глаза вдруг вспыхнули.

Она негромко вскрикнула и бросилась на высокого блондина, главаря с серыми глазами.

Это послужило сигналом.

Толпа дрогнула и взревела. Мужчины рванулись вперед. Женщины оцепенели, потом ринулись следом, даже не подумав толком, что делают. Пикетчики по инерции продолжали ходить по кругу (скорее топтаться почти на месте). Прежде, чем они успели опомниться, началась потасовка.

Коренастый тип в коричневом плаще добежал до них первым. Он выхватил у одного из пикетчиков плакат и, осклабившись в почти звериной ухмылке, швырнул его в сточную канаву. Другой ворвался в самую гущу пикетчиков и с разбегу врезал по зубам парню, скандировавшему свою кричалку насчет вонючих хриstopродавцев. Отчаянно замахав руками, он отшатнулся назад и припал на колени. Из толпы вырвалась нога в серых брюках – казалось, она орудовала сама по себе, отделившись от тела, – и ударила его в бок. Он повалился на спину, съежился в комок, и тут его начали топтать. Со стороны казалось, толпа исполняет какой-то дикий ритуальный танец. Если он и кричал, рев толпы заглушил его.

Среди других в толпе оказалось двое старшеклассников: Арчи и Фрэнк.

Только что они стояли в очереди сами по себе. Теперь, когда что-то происходило, они сделались частью социальной группы. Поначалу они отстали от большинства: возможно, их нервные окончания медленнее реагировали на увиденное. Однако теперь они реагировали на воцарившийся хаос почти механически. Правда, их грубо оттолкнули в сторону сквернословившие мужчины, оставившие свое место в очереди ради того, чтобы начистить морду пикетчикам, но потом они вместе с толпой двинулись вперед, так до конца и не понимая, что происходит. Ясно было только то, что кого-то бьют, и общее настроение толпы заразило и их. Спустя секунду или две они столкнулись с Лилиан Гольдбош, впив-

шуюся ногтями в щеку нордического блондина.

Он стоял, широко расставив ноги, не делая ни малейшей попытки отшатнуться. Его спокойствие казалось почти мессианским.

– Нацист! Нацист! Убийца! – иступленно выкрикивала она, а потом речь ее сделалась и вовсе неразборчивой, потому что она сбилась на польский язык, едва не захлебываясь слюной от ненависти. Тело ее ходило ходуном вперед-назад, и с каждым таким движением она проводила ногтями по щекам блондина. Руки ее словно превратились в какой-то разрушительный механизм и действовали сами по себе, помимо ее сознания. Она уже изодрала его лицо в кровь, но он так и не пытался защититься.

В это мгновение к ней с двух сторон подступили двое подростков с оглушенными, побелевшими лицами; они схватили ее под руки, защищая не столько нордического блондина, сколько ее саму. Она забилась, пытаясь высвободиться, смерила их взглядом, полным такой безумной ненависти, что на мгновение им показалось, что она приняла их за пикетчиков, а потом ее глаза вдруг закатились, и она обвисла на руках Фрэнка Амато.

– Спасибо... кем бы вы ни были, – произнес блондин. Он повернулся и собрался уходить, не обращая внимания на бушующую толпу. Казалось, он намеренно позволял ей увечить себя, принимая на себя весь гнев, всю ненависть, как громотвод, всасывающий энергию небес.

Арчи схватил его за рукав.

– Постой-ка, герой! Не так быстро!

Блондин открыл рот, чтобы сказать что-то обидное, но взял себя в руки, а вместо этого спокойным, рассчитанным движением стряхнул его руку.

– Я здесь все уже сделал.

Он повернулся и вложил в рот два пальца. Пронзительный свист перекрыл шум потасовки, и парни со свастикой принялись с удвоенной энергией пробивать себе дорогу из толпы. Один из пикетчиков лягнул пожилого соперника в голень, и тот спиной вперед полетел в толпу. Другой ударил своего оппонента под вздох, и тот сложился вдвое, выбыв тем самым из дальнейшей борьбы.

Так происходило по всему полю боя, и пикетчики, возобновив скандирование, медленно, но методично отступали к своим машинам. Надо признать, маневр отступления был выполнен с безукоризненной организованностью.

Оказавшись у самых распахнутых дверей своих «Жуков», они выбросили на прощание руки в нацистском приветствии и почти в унисон выкрикнули: «Америка превыше всего! Отравителей в топку! Смерть жидам!»

Хлоп! Хлоп! Со сновкой, почти не уступающей Кистонским копам, они попрыгали в машины, хлопнули дверцами и вырулили на улицу, не дожидаясь прибытия полиции, чьи сирены уже слышались вдалеке.

На тротуаре перед входом в кино кто плакал, кто ругался.

Только что они сражались, можно сказать, в битве и проиграли.

Мелом на тротуаре была нарисована свастика. Никто не пытался ее стереть. Возможности сделать это у пикетчиков не было: они просто не успели бы. Из чего со всей очевидностью следовало: это сделал кто-то из очереди.

Дурной пример заразителен.

Ее квартира являла собой попытку уверить ее покалеченную душу в том, что собственность гарантирует безопасность, безопасность гарантирует стабильность, а стабильность защитит ее от скорби, страха и темноты. Все пространство ее крошечной однокомнатной квартирki было заполнено всяко-разно современной техникой, всевозможными безделушками и диковинами, а также удобствами Нового Света, какие только влезли сюда. У этой стены раскинул кроличьи уши антенны двадцатитрехдюймовый телевизор... у этой негромко мурлыкал осушитель воздуха... на полках громоздился фарфоровый чайный сервиз от «Ройал Далтон», улыбались собственному простодушию статуэтки диккенсовских персонажей во главе с мистером Пиквиком, стоял раскрашенный по квадратикам портрет Джорджа Вашингтона на белом коне, ваза желтого стекла едва вмещала в себя собрание коктейльных соломинок из ресторанов экзотической кухни... стопки журналов «Тайм», «Лайф», «Лук» и «Холидей»... кресло с вибрацией... стереосистема с несколькими полками грампластинок, по большей части

Оффенбах и Штраус... раскладывающийся в кровать диван с набором оранжевых и коричневых подушек... и, наконец, игрушечная птичка, то и дело окунавшая длинный стеклянный клюв в поилку, потом откидывающаяся назад, потом снова наклоняющаяся к поилке – и так до бесконечности, пока в поилку налита вода.

Монотонные нырки стеклянной птички, напоминавшие воспроизводимый снова и снова отрывок из плохого мультфильма, по идее должны были бы напоминать о том, что жизнь продолжается; все же эта дешевая подделка не столько успокаивала двух подростков, которые проводили Лилиан Гольдбош до дома, сколько действовала им на нервы. В этом замкнутом мирке царил слабый запах разложения, а эмоции словно сгущались и становились осязаемыми.

Пареньки довели все еще не пришедшую в себя женщину до дивана и помогли ей сесть. Лицо ее было еще не старым, и даже морщины скорее красили его, а не старили – и все же на красивом, правильном лице ее застыла боль. Волосы – которые вообще-то раз в неделю укладывались профессиональным парикмахером – сбились в беспорядке, словно насквозь пропитанные потом. Влажная прядь прилипла к щеке. Светло-голубые глаза ее, обычно живые, подернулись мутноватой дымкой – то ли слезами, то ли просто тоской. Губы тоже увлажнились, словно они уже с трудом сдерживали рвавшиеся изо рта звуки.

Время пошло для Лилиан Гольдбош вспять. Она снова

слышала звук мотора автомобиля-душегубки с выхлопными трубами, выведенными в закрытый кузов, жуткий звук клаксона на застывших улицах... улицы, действительно, застывали в надежде на то, что неподвижных не заметят. Рык приближающейся машины, нараставший, пока она не оказывалась прямо под окном, а потом сменявшийся шипением машины, удалявшейся по улице прочь – передвижного пылесоса, засасывавшего в свою утробу целые семьи. С прилипшими к запотевшим окнам белыми пятнами лиц. Все это вернулось к Лилиан Гольдбош по следам воспоминаний последнего часа. Мальчишки с повязками на рукавах. Ее страх. Сорвавшаяся с тормозов толпа. То, как она бросилась на них. Безумие. Страх.

Страх.

СТРАХ.

Самая жгучая, самая пылающая мысль из всех: «Страх!»

Этот мальчишка, этот надменный блондинистый красавчик, арийский супермен – что он может знать? Может ли этот юный американец, рожденный на чистых простынях, для которого нет ничего страшнее двойки в школе, знать, что значит ненавистная черная свастика для нее, для целых поколений, для целой национальности, носившей желтую Звезду Давида с надписью «*Juden*», для разбитых рассудков и сердец тех, кто разбегался по обочинам от пикирующих «Штукас», или пытался отыскать родных в забитых доверху массовых захоронениях, или брел по чужбине, освещая дорогу лампа-

дой из снарядной гильзы? Знает ли он, или это что-то совсем другое... что-то новое, но очень похожее на старую болезнь?

В первый раз за много лет, за столько лет, что ей и считать их не хотелось – неужели с тех пор прошло всего двадцать лет – Лилиан Гольдбош испытала нечто, похожее на страсть. Не к красивому хламу, которым она пыталась заместить предметы привязанности, не к патологическому вниманию, которое она уделяла своим волосам, не к телевизору с его серыми образами – не к суррогатам жизни. Желание. Необходимость знать. Необходимость выяснить.

Откуда он взялся, этот старый страх?

И страх этот – тот же, давний, или что-то новое?

Она должна была знать. Отчаянное желание знать завладело ею целиком.

И это отчаяние заставило ее осознать одну совершенно потрясающую истину: она должна что-то предпринять. Она еще не знала точно, что именно. Но в ней крепло убеждение того, что, если ей удастся познакомиться с этим светловолосым гоем, то она сможет объясниться с ним, сможет найти ответы, понять, надвигается ли снова на нее зло или же это всего лишь заблудшая овца.

– Мальчики, могу я попросить вас еще об одном? – спросила Лилиан Гольдбош у старшеклассников, проводивших ее домой. – Поможете мне?

Поначалу они чувствовали себя неловко, но по мере того, как она говорила, как она объясняла, зачем ей необходимо

это знать, идея их увлекла, и они нехотя, но согласились.

— Ну, не знаю, выйдет ли из этого чего путного, но попробуем найти, — заявил тот, что повыше.

Потом они ушли. Спустились по лестнице и ушли. А она пошла смыть со своего древне-юного лица слезы и остаток макияжа.

Фрэнк Амато был из семьи итальянских иммигрантов. Типичный подросток своего времени: транзисторизированный, налетоудалительный, бутсовый, басовый, рюкзачный, грязеустойчивый, четырнадцатидюймовый, автоматически-коробочный представитель молодежной субкультуры.

Вьетнам? Чё?

Регистрация избирателей в Алабаме? Чё?

Этическая структура Вселенной? Чё-о-о???

Арчи Леннон был БАСП: белый англо-саксонский протестант. Он слышал этот термин, но никогда не примерял его на себя. Вообще-то, он словно из-под копирки повторял Фрэнка Амато. Он жил от одного дня к другому, от одного «Биг Боя» к другому «Биг-Бою», от одной тусовки к другой тусовке, и если в ночи раздавался глухой «бух», так это, скорее всего, его старик хлопал дверцей холодильника, достав из него очередное пиво.

Военная хунта? Ась?

Ограниченное ядерное возмездие? Ась?

Распыление человечества в бесконечных просторах космоса? Ну ваще...

Они вышли из дома Лилиан Гольдбош и остановились на тротуаре.

– Ну ты, чувак, и влип.

– А чё мне еще было сказать? Блин, она ж меня за руку держала... только что не оторвала. Словно как не в себе.

– Ну и кой черт ты ей наобещал? И как, блин, нам этого хмыря искать?

– А кто его знает. Но раз пообещал...

– На свою голову.

– Может, и не на твою. Но я обещал.

– Ну, тогда пошли, найдем этого говнюка. Так?

– Э...

– Я вот что думаю... Блин, опять – как чего дотумкивать, так мне. Господи, ну ты и тупой.

– Ты номера тачки не запомнил? Хоть одной?

– Харэ глумиться! Нет, номера не запомнил. А если бы и помнил, чё бы мы с ним делали?

– В отделе регистрации разве не должны знать, за кем машина числится?

– Ага, и вот мы такие туда ввалились, такие два Джеймса Бонда, два сопляка недорослых, и, типа, спрашиваем: «Эй, чей это вон тот черный “Жук”, а?» То-то картинка будет. Нет, ты точно тупой.

– Ну и пусть.

– А то.

– Придумай чего получше.

– Легко. Вот у одного из тех «Жуков» стикер был на ветровом стекле. Типа, эмблема: «Профессионально-техническая школа Пуласки».

– То бишь один из этих парней ходит в Пуласки. Знаешь, сколько там учеников? Может, миллион.

– Для зацепки сойдет.

– Ты это серьезно?

– Серьезней не бывает.

– С чего это вдруг?

– Ну, не знаю: она попросила, а я пообещал. Она старая леди, а от нас не убудет, если копнем там и тут.

– Эй, Фрэнк?

– Чего?

– Из-за чего вообще сыр-бор?

– Не знаю, но эти ублюдки – как хочешь, а ведь точно ублюдки! И я дал слово.

– Ну, ладно, я с тобой. Только мне домой пора: предки вот-вот вернутся, а потом, мы до завтра все равно ничего толком не сделаем.

– Валяй. До скорого.

– До скорого. Не вляпайся во что-нибудь, ты можешь.

– Забей.

Они не знали, кого именно из компании в черном найдут; а если найдут – смогут ли его узнать. Но один из типов со свастикой ходил в Пуласки, а занятия в Пуласки идут круглый год, без каникул – летом и зимой, днем и ночью. Там

обучали в первую очередь всему, что надо знать о карбюраторах, настройке шасси, реечном рулевом управлении и печатных схемах, и только потом – «Кентерберийским рассказам», шлакам и пемзе, теории векторов и тому факту, что первой жертвой американской войны за независимость стал некто Криспус Аттукс, негр. Этакая имитация Ковентри из серого камня, куда мальчишки приходили чистыми и незамутненными, а выходили спустя несколько лет проштампованными и запрограммированными для служения системе с заранее известным окладом и приблизительно рассчитанной (для страховой компании) датой смерти.

В общем, у них имелся неплохой шанс на то, что тот, кого они ищут – кем бы он ни оказался – все еще ходит в школу несмотря на лето, в то время как сами Арчи и Фрэнк были свободны. Поэтому они ждали и наблюдали. И в конце концов дождались.

Прыщавого жиртреста в мешковатом оранжевом пуловере.

Он вышел из дверей школы, и Арчи его узнал.

– Вон, тот толстяк в оранжевом!

Они шли за ним до стоянки. Он сунул ключ в замок на дверце «Шевроле Монца» последней модели. Следи они за «Фольксвагенами», точно бы его проглядели.

– Эй! – подошел к нему со спины Фрэнк. Толстяк обернулся.

Глаза у него были как у мартышки: мелкие бусинки. Лицо

мясистое, со следами порезов от бритвы. Вид он имел – ни дать, ни взять использованный и выброшенный на помойку. Даже Арчи и Фрэнк казались по сравнению с ним умниками.

– Вы кто, ребята?

Арчи он не понравился. Он даже не знал почему, но определенно не понравился.

– Приятели твоего дружка.

Жиртрест встревожился. Стараясь не поворачиваться к ним спиной, он бросил книги на заднее сидение и готов был прыгнуть в машину, хлопнуть дверцей и улизнуть. Жиртрест сдрейфил.

– Какого еще дружка?

Фрэнк плавным пируэтом придвинулся ближе. Жиртрест пригнулся к дверце, и рука его потянулась к спинке переднего сидения. Арчи придержал дверцу; рука Фрэнка скользнула по крыше машины ближе к голове толстяка. Глаза жиртреста побелели от страха, он только что не трясся.

– Высокий парень, блондинчик, – произнес Фрэнк угрозно низким голосом. – Был с тобой тогда вечером у кино, помнишь?

У жиртреста задергалась щека. Он понимал, что происходит. Его нашли евреи. Он рванулся в салон.

Арчи хлопнул дверцей, прищемив жиртресту руку. Тот взвыл. Арчи ухватил его за ухо. Фрэнк двинул его под вздох. Жиртрест сразу сдулся, превратившись в плоскую картонную фигуру, которую они втолкнули в салон и усадили на пе-

редний диван, усевшись по сторонам. Потом завели машину и выехали со стоянки. Надо же отвезти его в какое-нибудь тихое место, где он расскажет им все. Кто такой этот светло-волосый ариец, как его зовут, и где его искать.

Ну, конечно, если они немного подкачают в него воздуха, чтобы он мог говорить.

Виктор. Рорер. Виктор Рорер. Высокий блондин, подтянутый, с идеальной мускулатурой, словно только-только с конвейера. Виктор Рорер. Лицо, словно вырезанное из древа жизни или высеченное из мрамора. Глаза словно из голубого льда, сделавшегося свинцово-серым от холода. Тело томное, мягкое, покрытое пушком, с едва заметными светлыми волосками, каждый из которых – сенсор, датчик давления и температуры; ресничка, видящая, обоняющая и вникающая в суть ситуации. Гигант из Кардиффа, даже отдаленно не смертный, нечто ледяное, пусть и дышащее, живое опровержение теории Менделя, отрицающее наследственность. Существо из другой островной вселенной. Жилистый. Серые глаза, никогда не оживавшие голубым цветом. Крепко сжатые в ожидании тишины губы. Виктор. Рорер. Порождение самого себя, своего сознания, постановившего, что ему надо существовать.

Виктор Рорер, организатор.

Виктор Рорер, не знавший детства.

Виктор Рорер, кладезь замороженных тайн.

Виктор Рорер, носитель свастики.

Повелитель дней и ночей, исполнитель безмолвных песен, наблюдатель облаков и пустоты, аватар магии и негласных убеждений, жрец ужасов в час, полный ночных шорохов, архитектор упорядоченного разрушения. Виктор Рорер.

- Кто вы? Уберите руки!
- Кое-кто хочет с тобой побеседовать.
- Грязная шпана!
- Не заставляй меня приложить тебя, умник.
- Не люблю делать людям больно, но...
- Ой, не смейся меня.
- Давай, Рорер, шевели задницей: тебя ждут.
- Я ясно сказал: руки уберите!
- Не держи нас за дураков, Рорер. Так ты сам пойдешь, или тебе помочь?
- Двое на одного, да?
- Если потребуется, то да.
- Как-то неспортивно.
- Это ты, дружок, сам заставляешь нас забыть о спортивном поведении. И давай, пошевеливайся, если не хочешь получить вот этим по башке.
- Вы что, из уличной банды?
- Нет, мы просто пара, типа, патриотов. Делаем доброе дело.
- Хватит трепаться. Пошли, Рорер.
- Вы... вы евреи, да?
- Сказано тебе: пошел, ублюдок! Ну!

И они привели его к Лилиан Гольдбош.

В ее глазах танцевало удивление. Танец мертвых на разбомбленном кладбище; сорная трава, которой заросла трясына. Она смотрела на него через комнату. Он стоял в паре шагов от двери, ноги вместе, руки по швам, лицо, по части отсутствия какого-либо выражения неуступающее бескрайней тундре. Двигались только серые глаза – зато быстро, впитывая все, что можно было увидеть в этой комнатке.

Лилиан Гольдбуш подошла к нему. Виктор Рорер не шевелился. Арчи и Фрэнк тихо прикрыли дверь за его спиной. Они так и остались стоять по сторонам от двери как двое часовых. Оба заворуженно наблюдали за тем, что происходило в этой маленькой комнатке, полной беззвучного напряжения. Два несхожих мира застыли на долгое мгновение.

Они не до конца понимали, что это, но светловолосый паренек и старая женщина были настолько поглощены друг другом, что те, кто обеспечил эту встречу, словно бы исчезли, сделались невидимыми, участвуя в происходящем не больше, чем глупая стеклянная птичка, которая совалась клювом в воду, рывком выпрямлялась и снова наклонялась к воде.

Она подошла к нему почти вплотную. На лице его до сих пор виднелись следы ее ногтей. Она как бы непроизвольно подняла руку, чтобы коснуться их. Он отодвинулся на дюйм, и она спохватилась:

– Ты очень молод.

Она говорила, внимательно изучая его; в голосе ее звучало легкое удивление, не более того. Она словно пыталась понять реальность через это странное создание – Виктора Ропера.

– Ты знаешь, кто я? – спросила она. Он держался подчеркнуто вежливо; так чиновник вежлив с просителем.

– Та женщина, которая на меня напала.

Она сжала губы. Воспоминание об этом было слишком свежо в ее памяти: воспоминание о горном обвале, которого, как ей казалось много лет, уже не может быть никогда.

– Я сожалею об этом.

– Я мог бы ожидать этого. От вашего народа.

– Моего народа?

– От евреев.

– А? Да. Я еврейка.

Он понимающе улыбнулся.

– Да, я знаю. Этим ведь все сказано, не так ли?

– Зачем ты это делаешь? Зачем ты подначиваешь людей ненавидеть друг друга?

– Я вас не ненавижу.

Она с опаской посмотрела на него: наверняка он чего-то недоговорил. Так оно и вышло.

– Как можно ненавидеть стаю саранчи? Или крыс, живущих в подполе? Я не ненавижу, я просто уничтожаю.

– Где ты набрался таких идей? Откуда они у мальчишки твоего возраста? Ты хоть знаешь, что творилось в мире два-

дцать пять лет назад, знаешь, сколько горя и смерти принесли такие мысли?

– Не совсем. Он был псих, но насчет жидов мыслил правильно. Он знал, как с ними справиться, но наделал ошибок.

Лицо его оставалось совершенно спокойным. Он не цитировал чужих мыслей; он излагал теорию, которую разработал, обосновал и сформулировал сам.

– Откуда в тебе столько безумия?

– У нас разные точки зрения на то, кто из нас болен. Я предпочитаю думать, что рак – это вы.

– А что думают об этом твои родители?

На щеках его проступили маленькие красные пятна.

– Их мнение меня мало волнует.

– Они знают, чем ты занимаешься?

– Мне все это надоело. Вы сами скажете своей шпане, чтобы они меня отпустили, или мне придется вынести от вас и вашей породы очередное унижение? – лицо его теперь заметно покраснелось. – И вы еще удивляетесь тому, что мы хотим очистить страну от вашей грязи? Когда вы то и дело сами подтверждаете правоту наших слов?

Лилиан Гольдбош повернулась к паренькам у двери.

– Вы знаете, где он живет?

Арчи кивнул.

– Я хочу видеть его маму и папу. Отведете меня туда?

Арчи снова кивнул.

– Он не понимает. Не знает. Я не могу узнать это от него.

Придется спросить у них.

Глаза Виктора Рорера вдруг вспыхнули яростью.

– Держитесь подальше от моего дома!

– Сейчас, только сумочку захвачу, – мягко произнесла она.

Он бросился на нее. Вскинув руки, он навалился на нее, толкнув назад, через оттоманку, и они сцепились в клубок: она отчаянно дергалась, пытаясь высвободиться, а Виктор Рорер, лицо которого снова сделалось холодным, бесстрастным, пытался ее задушить.

Арчи с Фрэнком опомнились. Фрэнк взял Рорера в захват за шею, оторвав от женщины, а Арчи без лишних церемоний схватил с журнального столика мраморную пепельницу и замахнулся. Пепельница с довольно громким стуком соприкоснулась с головой Виктора Рорера; тот дернулся и повалился на пол слева от Лилиан Гольдбош.

Сознания он не потерял: Арчи рассчитал силу удара. Однако пепельница все же оглушила его. Он сидел на полу, двигая головой так, словно она принадлежала кому-то другому. Школьники тем временем хлопотали вокруг женщины. Она пыталась встать, но получилось это у нее только с их помощью.

– Вы как? – беспокоился Фрэнк.

Она оперлась на Арчи и механически подняла руку поправить прическу. Движение вышло вялым, незаконченным: все эти акты нарциссизма, которые делали ее жизнь сносной,

утратили теперь смысл. Дышала она прерывисто, и на шее – в том месте, где ее сжимали пальцы Рорера, – выступили красные пятна.

– Он законченный нацист, – прохрипела она. – Наелся нацистских пирожков и переварил их; он теперь один из них. Это тот самый страх, старый. Боже праведный, мы снова видим это – в точности как прежде.

Она начала всхлипывать. Слез не было: в том помещении ее души, откуда им полагалось течь, они пересохли давным-давно. Она нелепо задыхалась и всхрипывала, а когда в глазах ее так ничего и не появилось, она прикусила губу. Через некоторое время всхлипы прекратились.

– Нам надо отвести его домой, – сказала она. – Я хочу поговорить с его родителями.

Виктора Рорера подняли под руки. Он шатался и пытался упираться, но его все же спустили вниз и усадили в машину. Арчи уселся рядом с ним на заднее сидение; Лилиан Гольдбош всю дорогу смотрела прямо вперед, в ветровое стекло – даже когда они затормозили перед домом Рореров в пригороде Беркли.

– Мы приехали, – сказал ей Фрэнк. Она вздрогнула и принялась оглядываться по сторонам. Домик был аккуратный, невзрачный, один из длинного ряда одинаковых строений. От соседей он отличался в лучшую сторону палисадником: миниатюрными японскими деревцами на лужайке, карабкавшимся на стену плющом. И все равно он оставался

заурядным домом в заурядном городе.

– Ладно, Рорер, выходи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.